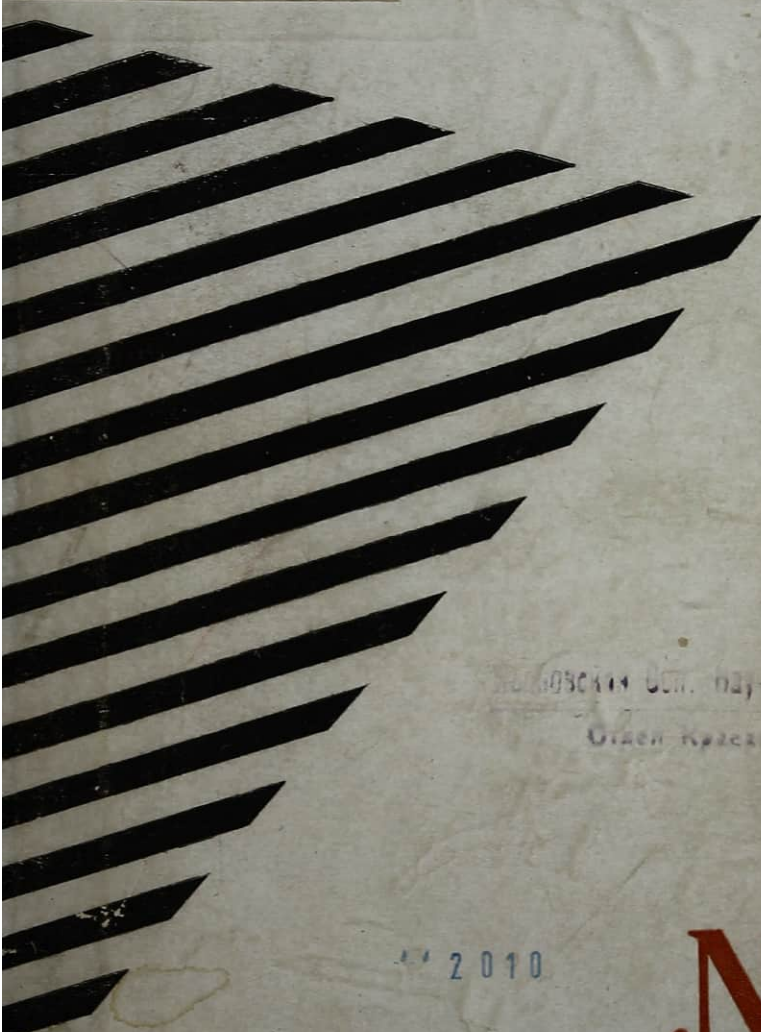


1-581 к. 7

# АТАКА



Ивановский гос. ун-т  
Отдел печати

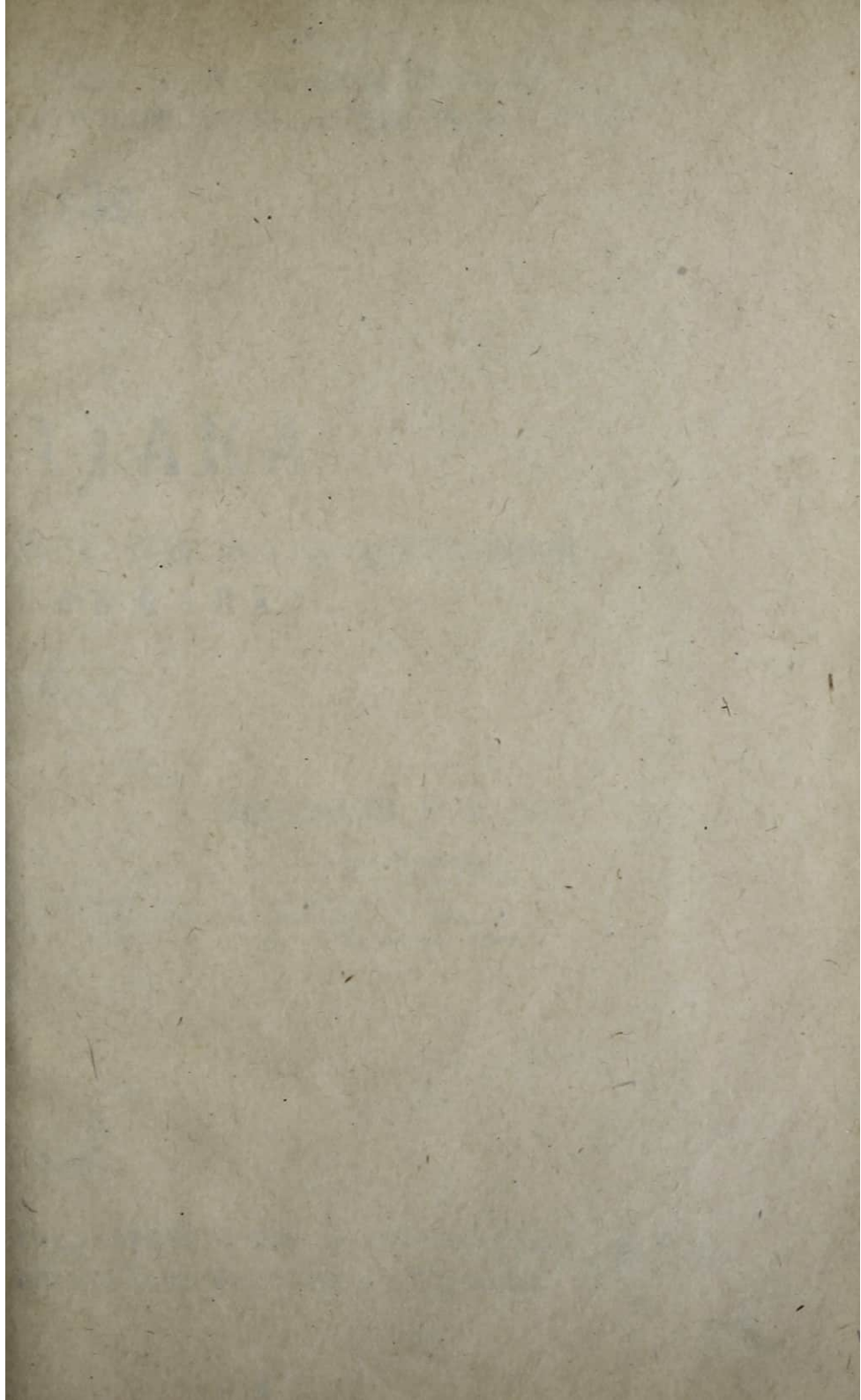
2010

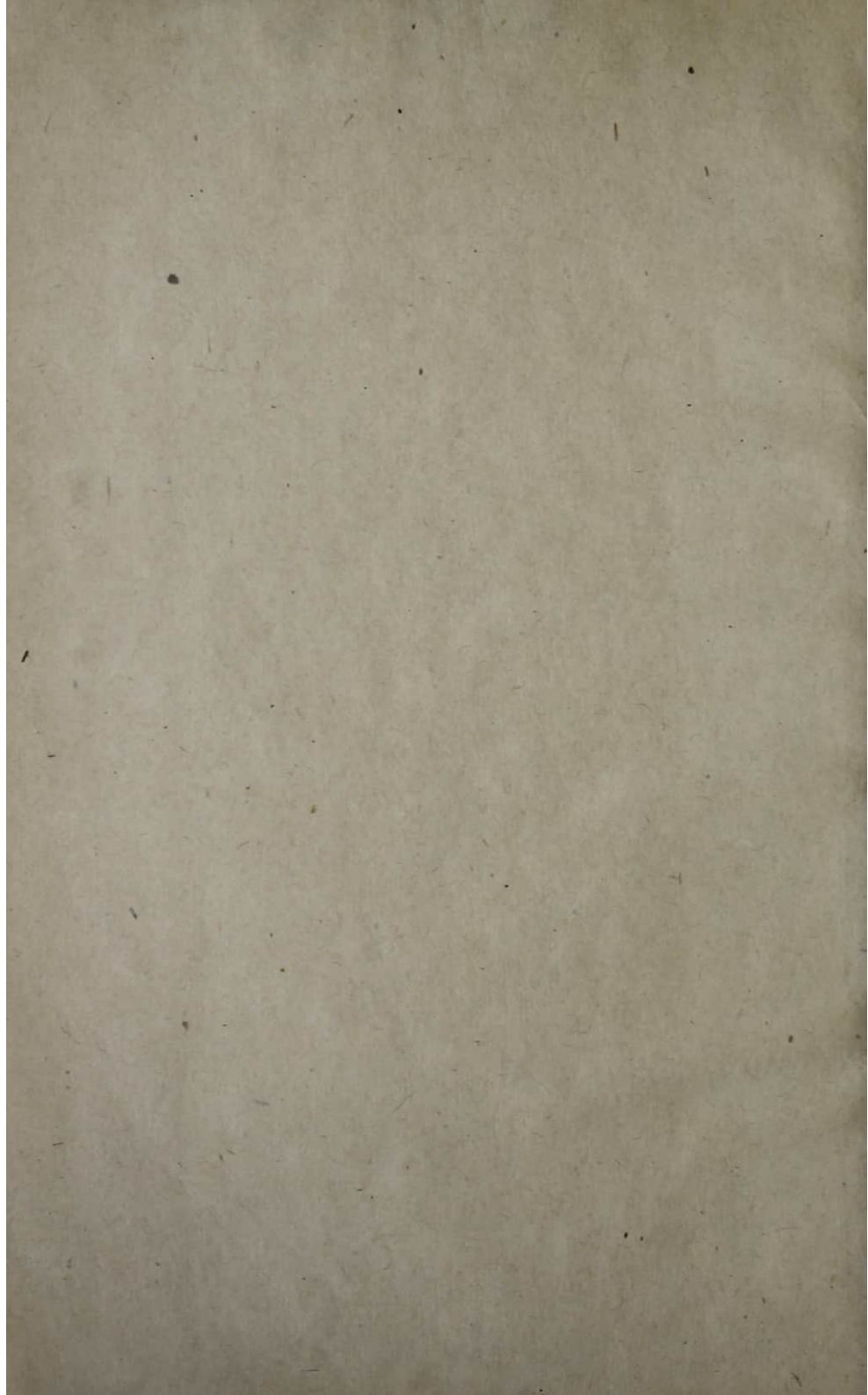
## № 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА—ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК

1 [ ] 9 [ ] 3 [ ] 0







АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

6870

# АТАКА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
А Л Ь М А Н А Х

№ 3

Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевой

Замеченные опечатки. 1. Лозунг на стран. 90 следует читать: *„Мы революции верны, а враг у красного оплота. Вооружение страны крепим ударной работой.* 2. Фамилию автора в 8 строчке содержания на стран. 164 нужно читать — *Блатов*.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1930

041

94

4

183

---

ГИЗ № 41232. ИВ. Индекс П. 13.  
Отпечатано в типо-литографии  
„Красный Октябрь“—Иваново-Воз-  
несенск. Зак. № 1928. Обл. № 1610.  
Тираж 2500 экз. Печ. лист. 10<sup>1/2</sup>.

2 P P

## ПЕСНЯ УДАРНИКА

На повороте  
Крут подъем,  
Но в сердце  
Бьется радость...  
Мы, молодые,  
В жизнь войдем  
Ударною бригадой.

Борьбу объявим  
Летунам,—  
Работа просит хода.  
Чтоб не мешали  
В деле нам —  
Лентяев  
Прочь с завода.

Сильнее темп!  
Машинный хор,  
Гуди напевом гулким...  
Наш прост и ясен  
Разговор  
На каждом  
Переулке.

У нас в борьбе  
Сомнений нет.  
Пусть враг  
Смеется едко...  
Мы в нашей  
Солнечной стране  
Закончим пятилетку.

С. Селиверстов.

## БРИГАДА

Праздник новый сегодня в цехе.  
Силы торопят:  
— Тки, тки, тки!  
Захлебнулись в веселом смехе  
И трансмиссии, и станки.

Нам не страшны в пути преграды,  
Много было и есть забот,—  
Но сегодня ударной бригады  
Отмечаем мы первый год.

И недаром на общем собрании,  
Обсуждая промфинплан,  
Против лени и прочей дряни  
Мы подняли такой ураган.

Без прогулов, без лишних праздников  
Наши дни и основы бегут.  
Мы, фабричной бригады ударники,  
Бойкой работой ответим врагу.

Еще не было лучше песни—  
До сегодня не слышал свет  
Песни пламенней и чудесней  
Производственных битв  
И побед!

Вад. Смирнов.

Лятыружон „Красный Профинтерн“. Бор-Понизовье.



## УДАРНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Мы лучшую построим жизнь,  
У нас большие силы.  
Удвоим рук своих нажим  
На рычаги и пилы.

Друзья! Работою своей  
Снесем прорывов горы.  
В эпоху новых, лучших дней  
Откроем семафоры.

Социализма дни идут—  
Нам лучшая награда.  
Нажми еще,  
Нажми еще,  
Ударная бригада!

Крепи подшипник шатуна:  
Всю силу для нажима.  
Моей республике нужна  
Хорошая машина.

Точите краны, как всегда,  
Чтобы горели блеском.  
Мы подготовим поезда  
К осенним перевозкам.

Социализма дни идут—  
Нам лучшая награда.  
Нажми еще,  
Нажми еще,  
Ударная бригада!

Николай Часов.

## ТЕКСТИЛЬЩИЦЫ

ПЕСНЯ

«Портропов», «жаккардов»  
Строй загудел—  
Работает ударный,  
Ткацкий отдел.

Гул, как песня, стелется—  
Станочки льют.  
Со станками девицы—  
Ударницы поют.

— В работе не ленивые,  
Стучи, строчи—  
Веселее, милые,  
Чел-но-чки!

Если делу надо,  
Мы не отойдем,  
Девичьей бригадой  
Первенство возьмем.

Мы в работе крепки—  
Не сдадим.  
План пятилетки  
В четыре мы дадим.

Девичья бригада,  
На войну!  
Переделать надо  
Всю страну.

— В работе не ленивые,  
Стучи, строчи—  
Веселее, милые,  
Чел-но-чки!

Иван Петров

# Ф Р О Н Т

ИНСЦЕНИРОВКА

Участвуют: оппортунист, колхозник, прогульщик, лодырь, ударная бригада.

## Оппортунист

(поет).

Разберись, честной народ,  
К вам пришел с беседою:  
Отчего мне невезет,  
Я и сам не ведаю.

Не хотел я даже дня  
Потерять в унынии—  
Обвинили вдруг меня  
В искривленьи линии!

С тем и с этим от души  
Рассуждаю здраво я,—  
Мне стараются пришить  
Все уклоны правые.

Я сказал: большой урон  
Нам дела колхозные;—  
На меня со всех сторон—  
Градом речи грозные.

Протащил меня рабкор,  
Осудил в бессилии,  
Бросил яростный укор,  
Не щадя фамилии.

«Раскулачивай врага»,  
Пронеслось задание,  
Я разумно предлагал—  
«Мирное вращение».

«Не возиться, не кричать  
С темною фигурою,  
Надо прежде накачать  
Мужика культурою...».

Оттолкнули мой совет  
И победой хвалятся...  
А в колхозах—силы нет,  
А колхозы валятся...  
Разберись, честной народ,  
К вам пришел с беседою,  
Отчего мне не везет,  
Я и сам не ведаю!

*(декламирует с расстановкой).*

По заводу—плакаты, плакаты:  
«Стопроцентную норму даешь!».  
А по поводу роста зарплаты  
Объявления и то не найдешь.  
Мчались в бешеном темпе бригады.  
Думал я: для чего канитель?  
После—сами разбегу не рады—  
Хлопок вышел и сели на мель.  
Нет, по-моему, надо потише.  
Только как им об этом сказать?  
Тем же часом в газету напишут,  
Назовут примиренцем в глаза.

*(Уходит. На сцену выходит колхозник).*

#### Колхозник

*(декламирует).*

Кто это так распевал отлично?  
Голос какой, какие слова!  
Все о колхозах, о жизни фабричной.  
Видно, бывалая голова.  
Песню такую теперь бы да хором...  
Жалко, что здесь я не вижу певца.

*(Оппортунист выглядывает из-за угла).*

В нашем колхозе он был бы актером,  
Для развлечения бы взять молодца.

#### Оппортунист

*(выйдя на сцену).*

А-а-а, колхозник! Так, так, так...  
Напи вам приветы.  
Говоришь, что я мастак  
Распевать куплеты?  
Что ж, шути себе, шути,  
Называй актером...

Кто сбивается с пути,  
Мы увидим скоро.

Подведет у вас бока  
От шального роста.  
Жить стране без кулака  
Уж не так-то просто.

На него со всех сторон  
Мы напрасно лезем—  
В эти годы был бы он  
Очинно полезен.

### Колхозник

Опять кулак... Ох, не могу!  
(Осточертел мне этот дядя...).  
Когда повадку дашь врагу,  
Тебе он вновь на шею сядет.

Вот о колхозах, я готов—  
Мне не страшны твои угрозы—  
Я слышал, много глупых слов  
Наговорил ты про колхозы.

Скрывать неслед, плохие есть,  
Но крепких знаю я не мало;  
Там навсегда кулачью спесь  
Рука бедняцкая сломала.

Кому другому возражай,  
А я— колхозник, и не новый:  
У нас прекрасный урожай,  
У нас порядок образцовый.

В колхозе нашем сто семей,  
Меж ними ссоры неизвестны,  
Наш председатель Еремей,  
Бедняк рассудливый и честный.

Не покоримся мы нужде,  
Не побежим от дисциплины:  
У нас в общественном труде  
Исправны люди и машины.

Мы строим мельницу свою,  
Мы оборудовали птичник:  
Не зря в колхозную семью  
Сейчас идет единоличник.

Ты оглядел бы скотный двор,  
Где целый полк коров молочных—  
Ты дал бы каждому отпор,  
Кто о колхозах врет заочно...

## Оппортунист

(торопливо).

Будет, будет, постой, отвяжись...  
Я... в строительстве вам не помеха...  
Расхвалил ты колхозную жизнь,  
Расхвалил, дальше некуда ехать.  
По словам, ваше дело растет,  
Как по маслу, бежит работа...  
Поглядим мы на вас через год,  
А сегодня—не верится что-то.

(На сцену выходит пьяница-прогульщик).

## Прогульщик

(поет).

Забросив дело грязное—  
Работу у станка—  
С утра я нынче праздную,  
Валяю дурака.

Рабочему простительно...  
Шагаю налегке;  
Погода восхитительна  
И деньги в кошельке.

В поселок Афанасово  
Дорожка широка;  
Вина у Ваньки Власова  
Бездонная река.

Красуются на столике  
Литровка и стакан...  
Беседуйте, соколики,  
На что вам  
Пром-фин-план?!

(Появляется лодырь).

## Лодырь

(декламирует медленно).

Вот это я  
по-  
ни-  
маю—

Подвыпить и песенку спеть...  
Я спину в труде не ломаю,  
И страх не люблю потеть.

Зачем доходить до пота?  
Силенку терять для чего?

От нас не уйдет работа,  
Здоровье дороже всего.  
«С работы не будешь сытым»—  
Всегда говорил мой отец...  
Чего это дремлют часы там?  
Придет ли работе конец?  
Скорей бы забраться на печку  
(Сначала, известно, обед),  
Люблю потеплее местечко...  
Привычка от детских лет.

### Оппортунист

*(обращаясь к колхознику).*

Что? Насмотрелся на этих парней?  
Ну-ка, шагай с ними в ногу!  
С ними, быть может, быстрее и верней  
Вы проторите дорогу.

Тысячи их по заводам у нас,  
Больше того—по колхозам...  
К социализму придете как раз  
С этим живым навозом.

Рано берем мы свинцовый груз...  
Скачем не в меру бойко...  
Прежде—с культурой тесный союз!  
После—упорная стройка...

*(На сцену выходит ударная бригада).*

### Бригада

*(коллективно декламирует).*

Товарищи,  
Ударники,  
В разведку!  
Вы слышали  
Врагов упрямый лай?  
Из-за углов  
Скулят на пятилетку  
Оппортунист,  
Прогульщик  
И лентяй.  
А, ну-ка, враз  
Ударь по ним, бригада,  
Ударь сильнее  
Без жалости,  
Сплеча!  
На строгий суд

Веди тупое стадо:  
«Могли вредить—  
Извольте отвечать».

Кто говорит—  
Нам не дойти до цели?  
Кто говорит—  
Слабеет сила в нас?  
Неправда!  
Нет!

Мы побеждать умели,  
Мы победить  
Сумеем и сейчас!

Придут к победе  
Фабрики и нивы,  
С больших дорог  
Сметая лишний сор.  
В полях поют  
Колхозные приливы,  
Станки ведут  
Веселый разговор.

Мы не свернем  
С пути великой стройки!  
И пусть враги  
Запомнят до конца:  
Где мало им  
Простой головомойки—  
К услугам их  
Пилюли из свинца!

Товарищи,  
Ударники—  
В разведку!  
Не страшен враг,  
Но не подох он все ж...  
Дашь в четыре года  
Пятилетку!  
Дашь!!!

А. Благов.



## ВРЕМЯ—ПОЛЫМЯ

## П О В Е С Т Ъ

— Евлаи!—кричит Софья лениво и властно. Ответа нет. Духовитая тишина стоит в доме.

— Евла-ан,— снова раздается голос Софьи. — Евла-ан... Е-евла-ан... Евла-а-ан...

В соседней комнате скрипит дверь и Софья вбегает туда. Навстречу ей сестрица Маргарита, старшая в келье. Она обращается с Софьей, как с дочерью, но очень не любит ее капризов. Сама про себя думает: — «Ишь барыня! Будто ей все обязаны служить и стоять перед ней в струнку». Но этого Маргарита никогда не высказывает, боясь греха.

— Соня, зачем же это ты кричишь без-толку. Может, он в сарай ушел, или на скотном, а ты надсажаешься.

— Да он тут недавно с папой о чем-то говорил.

— Уйти-то ему недолго.

Софья переменяла тон с капризного на ленивый и властный.

— Сестрица, скажи Павле, что мы с папой чай отпили— со стола можно убирать.

После этого она шумно сбегает вниз, а Маргарита, тяжело дыша, задевая широкими пухлыми боками за стену и поручни узенькой лестницы, поднимается вверх. Над двором дома Ефима Лукьяныча Медвянова выстроена светелка, в ней бываю молитвенные собрания. Над вторым этажом возведен третий, но вдвое ниже и наполовину уже второго. Тут кельи староверов-беспоповцев. После революции в кельях живут только женщины. Держать мужчин Ефим Лукьяныч находил хлопотным и опасным, считая свою деревню недостаточно глухой и спокойной—в двух верстах от деревни лесом проходила железная дорога. Хотя самый ближний полустанок был в девяти верстах, но, все-таки, шум поезда вносил свою частицу в тревожные настроения Медвянова. Раньше волостное село было тоже в девяти верстах у самого полустанка, а теперь в двадцати пяти на станции, а сельсовет в бывшем волостном в девяти верстах. В кельях последнее время жили только четыре староверки—Маргарита—толстая, сырая женщина, Матрена—хромая старуха и две молодые девицы—белесая, толстенная, бойкая Павла и черная, стройная Капитолина. Маргарита упра-

вляла домашностью (хозяйка у Ефима Лукьяныча умерла семь лет тому назад), а девицы убирали дом и выполняли легкую работу в поле и на огороде.

— Сестрица Павла, вниз убираться!—приказала Маргарита, тяжело отпыхиваясь.

Белокурая девушка, визавшая перчатки, послушно встала, поклонилась и скрылась в темном провале лесенки.

...Софья, сбегав вниз, заглядывает на кухню, в людскую, где летом живут батраки, а по зимам около железной печки ютятся Евлан, потом выходит на теплый скотный двор, где и находит старика. Евлан вывешивает нормы вечерних дач скоту.

— Евлан,—обращается Софья кокетливо,—а ты лыжи смазал?

— Как же, как же... для тебя разе забуду, а выгнул так, что, как на пружинном матрасе поедешь.

Он выносит лыжи с палками и провожает ее.

— Чудно мне, Софья Ефимовна, найдет лыж. Из какого это они дерева сделаны? Не ломаются: такие тоненькие, а ведь надо сдерживать этакой сбитень. Ведь, вон что этого самого женского добра—что здесь, что тут—только любоваться.

— Ах, какой ты, Евлан, глазастый. Так бы наверно и съел, только зубов нет. Молодой, поди, заgreбистый был...

— Эх, Софья Ефимовна, что говорить... Я бывало выйду с гармонью, а вокруг меня девки-то грудятся...

— А теперь ты, Евлан, только на клей годен.

— Ну, полно-ка... Когда вот с тобой шучу, мне будто теплее делается, как бы всего на дрожжах поднимает.

— Это уж последнее дыханье, а дальше один песок остался.

— Ну, если уж я никуда не гожусь, так зато сын у меня красавец. Сам я молодой был парень хоть куда, ну, а ему двойная цена—и крепок, и миловиден.

— Да не хвастай—сами видали,—смеясь остановила его Софья. — Пишет ли он тебе?

— Недавно—две недели тому назад—письмо прислал. Пишет—на коне через день границы осматривает, отделенным командиром состоит.

— Это ты мне двадцать раз рассказывал. Ты скажи, что в этом письме он пишет.

— Весной, говорит, домой приеду, поправляй избу...

Минуту оба молчат и думают о пограничнике Павле.

— А какая уж поправка—избенка вся развалилась,—закидывает удочку Евлан. Софья понимает намек и смущается:

— Приедет—сам поправит.

Она сильно подирается палками и едет по улице, чтобы свернуть на краю деревни к реке, на пологие холмы, уходящие в лесной массив, куда скрывается река Спень.

На улице кричат ребяташки. Бабы, управившись по дому, выходят с малышами в полах шубеек пошмуриться на мартовском солнышке. У ворот на солдцепеке прыгают молодые, родившиеся зимой ягнята.

Из дома Василья Мурлыкина вышел Николка Петунин со своей бражкой. С ним и Сенька Катин, и Тишка Летчик, и Оська Мура, и даже пожилой Матвей Пушкин. Петунин непомерно долговяз и сейчас похож на учителя с группой школьников. Они ходят из дома в дом—подбивают мужиков на организацию колхоза.

Завидя Софью, они останавливаются посмотреть на ее умение ездить на лыжах. Ярко-рыжий, бородатый (на лице и на руках чаща веснушек) Пушкин качает головой:

— Плохо дело идет... Барыня перевешивает.

— Сильно отъелась...

— Скоро худеть начнет,—усмехается Петунин.

— Кулачиха из нее выправилась, что надо...

— Как с картины.

Тишка Летчик, покачиваясь на костылях, доказывает, что, дескать, если рассуждать с политикой, то вся ее дородность принадлежит обществу крестьян деревни Гудеж, по той причине, что отец ее кулак и эксплуататор.

— Ничего бы с ней прокатиться,—откровенно признается в своей тайной мысли Оська Мура.

— Кулачиха-чиха-чиха!—орет Катин. Они откалывают еще несколько соленых шуток и двигаются дальше в дом Фоки Паперстка.

— То ли вот девка немогутна,—говорит по дороге Пушкин:— а ежели бы жила со мной—рыжего бы принесла. Вот до чего в природе отец имеет значение.

— Ты вдовец—вот посватайся,—смеется Оська.

— Где уж нам к такой зазнахе. Вон она как губу-то гнет.

— Скоро губу она опустит,—бросает на это Петунин, шагая вперед.

Софья выезжает за деревню, стремительно скатывается с горы, на повороте падает в снег и лежит долго, долго: думает и плачет.

«В деревне творится что-то тревожное, непонятное. Собираются организовать какой-то колхоз, отобрать у отца землю... Что тогда будем делать? Дом придется продать и ехать в город. Этот долговязый чорт будто с ума сошел и других сводит... Каждый вечер у него комсомольцы до полуночи сидят, почти каждый день сходы мужиков, то насчет электростанции, то самообложения, то колхозы... Мука, а не жизнь. Дом наш трещит, разваливается. Отец ходит угрюмый—сердитый и все думает и читает много больше прежнего—святые книги и даже газеты....»

«Замуж бы выйти, — в дом принять хорошего человека, чтобы взял все в руки и удержал дом на высоте.»

Мысль невольно набежала на воспоминание о Павле.

«Дико, конечно, за сына батрака замуж идти, но это неважно, — парень очень хороший, статный, серьезный парень. Иметь такого мужа не стыдно, хоть он и сын нашего батрака. Отец вчера намекал на то, что-де позасиделась уж, женихов достойных нет нынче, Павел Евланов скоро придет, написала бы ему поласковой. А что, если vzаправду написать?..»

\* \* \*

Коля Петунин жил в той части деревни, которая называлась Пеньки. Здесь когда-то выжгли лес, несколько лет на пали было репище, сняли репу всей деревней, а потом на этой земле отводили участки под застройку. Те, которые сильнее и побогаче оставались на старых усадах или отвоевывали усады в коренной части деревни, а бедноту выпирали в Пеньки.

Петунин жил только с матерью — старухой. Отец был па-стухом. Восемь лет тому назад его убило грозой. Из скота была только лошадь, кормная, всегда вычищенная, — молодой хозяин звал ее «Пупсик». Рядом со своим хозяином лошадь казалась совсем миниатюрной. К своему выкормышу, этому крутобокому мерину, Коля питал какую-то неопределенную нежность, как к меньшему члену семьи.

Мать, такая же долговязая, жилистая, с маленькой веселой головой, славилась необычайной выносливостью. Летом она одна из всей деревни ходила на полустанок, что в девяти верстах, по два раза в день к утреннему и вечернему поезду, попутно, смотря по времени, собирала цветы, ягоды и грибы, которые и продавала пассажирам. Никто раньше ее не заметит и не оберет лучшие грибные места. За это и прозвали ее Феня Самоход. В нее и сын — легкий и неутомимый на ногу. Он работает письмоноцем при почтовом отделении на полустанке и справляется со своей работой шути. За хорошую работу ему в январе выдали премию — костюм в тридцать пять рублей.

Изба Петуниных является бесплатным помещением для работы комсомольской ячейки и собраний деревенского актива. Все стены залеплены плакатами, картинками из журналов и олеографиями. Полати от потолка перенесены вниз — приделаны на аршин от полу и представляют из себя подмости для президиума, чтеца, докладчика. Молодежь собирается почти каждый вечер. Если нет собраний, за газетами и книжками просиживают до полуночи. Некоторые так на подмостках и спать остаются.

На минуту не сомкнув глаз, сидела с ними до конца и старуха Петунина.

— Ну, будто все это с нашей жизни снято!—изредка восклицала она, на что сын каждый раз говорил:

— Хватила... Похоже ружье на гарантас.

Десятки книг и множество статей из газет, прослушанных ею вместе с ребятами, в чем-то убедили ее, заставили верить в правые и важные дела сына и его друзей. После этого на собраниях при голосовании она стала поднимать руку.

Тогда сын кивал головой:

— Твоя рука не считается.

— Что это, Миколай-то, меня всегда отшибаешь!—возмущалась мать.

— Здесь комсомольское собрание, а ты перестарок. По уставу нельзя допустить. Вот в пятницу собрание актива, тогда будем засчитывать.

В восьмом часу изба наполняется народом. Первыми приходят те, которые живут в Пеньках: Сенька Катин, Тишка Летчик, Оська Мура, Вера Портниха, Лидка Румянцева, после появляются лучшие единомышленники из Гудежа: Матвей Пушкин, Мишка Ласточкин, Костя Багля. Вскоре в избе становится тесно—не поворотиться. Пришли все, кому сегодня на дому был разъяснен вопрос об организации колхоза. Председателем выбрали Пушкина, секретарем Тишку Летчика.

Прошлым летом Тишка по попавшемуся ему в руки руководству построил планер и на глазах у целой толпы сделал первый полет с Матрешкиного обрыва. Расчет у него был хитрый: в случае аварии он только бы хлопнулся в тихие воды Спени, но планер оказался на редкость удачным: Тишка перелетел реку, небольшой заливной лужок и, от радости потеряв управление, упал на сече, разбив при падении коленку. В сельской больнице ногу лечили невнимательно и ее свело крючком—пришлось ходить на костылях. После того Тишка решил специализироваться на канцелярском деле—теперь он секретарь всех собраний и вдохновенный исполнитель всякой канцелярщины в ячейке.

— Рассаживайтесь повсеместно,—не стесняйтесь,—властно заговорил Матвей Пушкин: — Тихе! Слово даю товарищу Петунину.

Он встал на подмостки и стукнулся головой о потолок. Все захохотали. Петунин погладил в смущении своей широченой ладонью то место потолка, о которое стукнулся, и сказал:

— Все забываю. Мне надо здесь сидя говорить.

Катин вскинул ему на подмостки табуретку, и он сел, облокотившись на стол. В начале он напыщенно заговорил о том пламени крестьянской инициативы и настоящего пробуждения деревни, что выражается в колхозном движении, уже охватившем бесчисленные деревни и села Советского Союза.

— В других-то местах умнее нас,—многозначительно обронил Наперсток.

Иван Матушкин попросил.

— Сказывай попроще, спичка тебе в нос!

— А мы здесь что живем?! Сказать стыдно. Грибами кормимся, да картошкой. Кто не поглядит на нас, скажет—темный и робкий элемент. Маемя на узеньких полосках. Безлошадники... бескоровники... горемыки,—выкрикивал он, будто ругаясь.—И де же у нас выход из этого пресмыканья? Выходит на середняка, что ли? я вас спрашиваю. Да середняк сам свою-то жизнь не хвалит... Остается таким же замордованным и забитым работой и заботами, как мы. Пришло то чудесное время, когда все есть, чтобы вырваться из когтей апатии и обломовщины...

Иван Матушкин плаксиво растянул:

— Опять ты нам по-заграничному кроешь... Хорошо тебе вот, ты развитой, а у меня в ухе только один гул, а в голову нечего...

Мурлыкин взгляделся в маленькое запотевшее личико Петунина—ему не понравился озлобленный тон его речи.

— Что ты рвешь... Говори толком,—посоветовал Мурлыкин.

— Мы любим думать степенно, и так и эдак вопрос прикинуть.

— Что ты нас разжигашь...— Говори прямо, что вы тут придумали. Небось, не сробеем,—вторил ему весь седой, веселый Софрон Дочкин. Петунин обмяк и заговорил тише.

— Доля наша светлая у нас под окном ходит, а мы ее не видим из-за темноты своей и бестолковости. Колхоз мы решили организовать. Колхозу быть!—стукнул он кулаком по столу,—мы так придумали: в случае чего старые не согласятся, из одной молодежи организуем и покажем, что это за штука. А колхоз у нас будет!

— Стой, не забегай вперед,—визгнул Наперсток.

— Миколай, послушайся мужиков, не горячись!—встала мать. Беспокойный юркий Наперсток встал, прошел к подмосткам и сел на край их. Завязка заячьей шапки ушанки была завита на указательный палец правой руки и похоже—он держал за крыло убитую чайку.

— Рассказывай, как будете гарнизовать,—нетерпеливо протараторил он.

— Неплохо у нас выходит, хоть на выставку,—усмехается Петунин и ковыряет пальцем гнилой угол стола. — При нашем малоземельи у нас Медвянов до сих пор держит при себе двадцать шесть десятин.

— Об этом десять раз говорено, а все ни с места,—хихикнул Софрон Дочкин.

— Тут смелость нужна... Напор,—пояснил Матушкин.

— А сделаем так,—не слушая их, продолжал Петунин,—лошадей обобществим, землю нам выделяют в отдельном месте... Хорошую нам отмеряют... Потом двадцать шесть десятин отбе-

рем в колхоз у Медвянова. Его мы ликвидируем совсем. Дом, сарай, скот, сельско-хозяйственные машины—все отберем в колхоз. Хватит, поработали на него, и он нам глаза намозолил. Староверочек на выкурку, самого на выселение из пределов, а дочь дядю себе найдет...

Наперсток вытер лицо шапкой и сказал:

— Ффу... Вот это ход... Прямо с туза.

— А законы это дозволяют?—справился Илья Чесноков.

— Дозволяют,—крикнул за Петунина Катин. — В других местах давно уж раскулачили.

— Раз тронем Медвянова, и молотилка, и жнейка, и косилка к нам перейдут, дело у нас пойдет. С машиной работа—одно любованье,—рассудил Мурлыкин.

— Товарищ Петунин доклад кончил... Можете теперь по силе возможности высказаться,—объявил Матвей Пушкин. — У кого есть прения?

Костя Багля—парень из Гудежа, комсомолец, по школьному поднял руку.

— Валяй,—разрешил Матвей.

— Одно скажу—придуманно крепко, не развалится... Без лишних слов, Летчик, защищи меня...

— Фоку Евтеева впиши... Фоку... меня впиши,—торопил Тишку Наперсток.

— По-моему, это незаконно,—беспокоился Илья Чесноков:— человек он благородный, смирный, никого не трогает. Наживал он, наживал, так вдруг его всего лишать. Сердце у меня на это не поднимется. Опять же девка у него вызрела, замуж не сегодня, завтра пойдет, а вы все отберете, кому она нужна гола-та...

— У нас всегда так,—закричал Катин:— один вперед идет, а двое его за ноги держат. Раз у тебя сердце не поднимается, уходи ныть на обочину, чтобы за тебя не запинаясь.

Тут вскочил комсомолец Мишка Ласточкин:

— Мой отец почти всю жизнь на Медвянова работал и платил он ему больше вином, а мы голодные сидели. Так и спойл человека. Пятнадцать лет у него в наездниках работал, а ничего не выездил, кроме смерти, а семья в хибарке без куска хлеба осталась.

— Мало ли чего в жизни-то было,—возразил Чесноков.

— Вот возьми его,—осердился Тишка Летчик,—таким нытьем можно любой факт замазать. У него двадцать шесть десятин, у нас по три—вот и сиди, жалей его. Экой умник! Что он своим трудом, что ли, столько добра нажил? Наши отцы да деды ему поработали.

— Раскулачивать таких Медвяновых сам Ленин наказывал. Кто не верит, могу справку дать—у меня дома есть про это книжка. Или, может быть, сейчас ее принести?—и Тишка Летчик стал собирать костыли.

— Сиди уж,—остановил его Мурлыкин.

— Ну, кого еще записывать?

— Обновка жизни замысловатая выходит,—засмеялся Софрон Дочкин,—письни меня.

Тогда поднялся угрюмый, чернобородый Василий Мурлыкин.

— Чего это у нас получается?—Он устремил взгляд в сторону Петунина, Катина, Пушкина.

— Когда вы по домам обходили, мы вам свой соглас давали?

— Давали,—кивнул Петунин.

— Так в список нас надо первых, а тут уж другие первыми оказались.

— Это все равно,—ответил ему Пушкин,—в колхозе люди будут цениться по активности и прилежанию к общему делу, а не по первым местам в списке.

— Нет, все-таки, отличка,—поддержал Мурлыкина Матушкин.—Запиши меня на самом верху.

— А вот как нам с Лидой поступить?—Смушенно спросила Вера Портниха,—мы безземельные, кормимся иглой. Такие принимаются ли?

— Как же, как же,—засиял Петунин,—с приветом к нам... Колхоз дело крупное—всем работы хватит. За милую душу вам в яслях работать или на детской площадке. Таких людей, вроде интеллигенции, с приветом к нам...

— Напихается тут всякой твари,—прошентал Чесноков.

Через полчаса Тишка перевел дух и сказал:—«Кажись все»—и стал убирать список в папку.

Чесноков страхнул с себя раздумье и несмело заявил:

— Припиши и меня сбочку!

Тишка застывает в нерешительности и вглядывается в лица:

— Как быть?

— По-моему, надо подождать,—резко режет Мишка Ласточкин.

— А по-моему вписать,—противоречит Наперсток,—человек беднеющий, только сердцем слаб. Ну, обдержитесь...

\* \* \*

На реке появились полыньи. Петунин ходил с острогой от полыньи к полынье и колол рыбу. Из-за медвяновской бани прошла к проруби Павла. Петунин сразу ощутил какую-то духоту во всем теле.

Он часто говорил себе:

— «Как бы уловчиться—эту золотую староверочку себе вытащить. Снится мне очень часто—видно и она не против меня. А хороша, есть об чего ручки погреть. Всю бы эту религиозную дурь я из нее вытряхнул и образовал бы по коммунистическим идеям».



Петунин украдкой пробежал до медвяновской бани и встал за угол глядеть на староверку, которая неторопливо полоскала белье. Большое мрачное длинное платье ничего не обещало, и Петунин поспешил сбежать вниз. Очутившись около нее, он заговорил нервно и поспешно:

— Что, сестрица, на солнышко вышла?.. Хорошо, вольно дышится. Ходишь и будто пьешь солнышко—не напьешься.

Мартовский юный солнечный свет был мягок и свеж.

Павла выпрямилась, сложила на дородной груди руки друг на дружку и поклонилась в пояс:— Прости, христа ради.

— Я знаю, все у вас «прости христа ради», да «бог прости», да «благослови сестрица», я по вашему здороваться не умею, ты уж со мной по-мирскому говори.

— Не о чем нам говорить: ты мирской человек, а я из мира ушла, у меня в душе только божье.

— «Ушла»—это только пустой звук. От тела от своего никуда не уйдешь, оно своего требует. Говоришь только божье, только божье, а поди бывает по временам голова от мирских мыслей ломится.

— Навождения мы отгоняем.

— Отгонишь,—того гляди!

— Что вы меня в грех вводите, чего вам от меня нужно?

— Пойдем погуляем.

— Я уж на том свете погуляю.

Петунин удивлен этим твердым убежденным ответом.

— Эх, и забили же вам голову,—говорит он взволнованно и резко.— Вы, наверно, представляете—умрете и попадете прямо в рай. А рай—это расписные хоромы с роскошным садом. В саду гуляют кудрявые красавцы женихи в вышитых рубашках в обнимку с святыми староверками. Какое заблуждение!

— Это дело не ваше, как мы думаем... Только душу свою на адовы мучения мы оставить не хотим, по душе своей нечемся с молодости.

— Несчастный ты человек! Губишь свою жизнь и чему-то еще радуешься.

— С чего вы взяли, что я радуюсь?

— Лицо у тебя как бы сияет... Будто ты счастье какое ухватила и вся изнутри светишься.

— Ах, да,—спохватилась Павла и оглянулась вверх на дом—не смотрит ли на нее Маргарита.— Сияние во мне верно есть.

— Отчего уж это?—недоумевал Петунин.— По-моему, это ненормально, жизнь у вас—одна засуха, четыре стены, да гнусавые молитвы. Я много раз слышал, как вы молитесь—нарочно подслушивать на крышу медвяновского двора залезал. Почти всегда на один лад, молитвы читаете в нос... Почему это у вас молитвы умышленно гнусаво читают?

— По уставу так положено.

— Скажи уж по-правде, что у тебя за ликование в душе? Вво до чего интересно — прошу!

Мало-по-малу она рассказала, что вчера приходила в келью одна из настоятельниц секты, какая-то сестрица Досифея, и сама вся восторженная, праздничная, сообщила: — старец Маркел, самый главный начетчик секты, по старописным редким книгам проверивший ход истории, нашел, высчитал, что «представление свету», — конец мира будет через семь дней. Вся секта нзрядилась во все лучшее и чистое и объявила пост. Досифея уверила их, что секта на страшном суде без лишних разговоров будет поставлена по правую сторону и пойдет в рай, а все эти смутьяны колхозники, коммунисты, комсомольцы — без суда в ад.

— Там уж и погуляете... И по несколько раз в день будете переодевать райские одежды, — обещала настоятельница этим красивым, крупнотелым девицам.

Петунин от этого сообщения пришел в ужас, на минуту разум выключил: обычный ход мыслей и пережил миг тошнотного безумия. Но тут же подумал:

«Может быть, вся секта их — коллектив идиотов. Но нет. Вот передо мной девушка с белокурыми волосами, с румяно-золотистым лицом... И глаза у нее синие, наивные и добрые, добрые... А если бы она улыбнулась — все вокруг за-сверкало бы радостью».

Петунин схватил себя за горло и, слегка покачиваясь взад и вперед, иступленно заговорил:

— Павла, голубка... Золотко ненаглядное! Ну что же они так твою душу изуродовали, ведь это же безумно. Все науки, университеты, академии, все ученые говорят, что бога нет и страшного суда не будет. А они все знают: изучили и землю, и небеса, и подземное все... На небеса по аэроплане летают, и там ничего нет, только одно безвоздушное пространство и дальше планеты, как наша земля.

Он сорвал с головы шапку и хлопнул об лед: — Вот провалиться мне — светопреставления не будет!... И вся ваша жизнь одно заблуждение.

Он стоял перед ней без шапки, с расстегнутым воротом рубашки и в диком порыве любви и возмущения бормотал:

— Золотко... Синеглазенькая.. Беги от них и приходи ко мне, у меня изба и одна мать. Феня Самоход зовут — наверно, знаешь. Я тебе расскажу, что такое наука и почему не будет страшного суда. Кругляшок ты мой, беги от них... Ты жизнь свою губишь. Жизнь она — большая, широкая и веселая. Ты в теперешней жизни, как доисторическое ископаемое... Уходи. Павла, я тебя люблю и жалею. Иди ко мне. Право, в двадцать раз лучше будет.

Девушка смотрела на него растерянным недоумевающим взором и дрожала. От прежнего мечтательного, ликующего настроения остались бледные обрывки. В воспаленной голове мелькала мысль о том, что случилось что-то грозное, непоправимое. Петунин в безотчетном порыве шагнул к ней, и она, упорно глядя ему в глаза, вдруг заплакала. Схватив корзинку с бельем, Павла быстро пошла на угол к дому.

— Выйди опять, — просяще закричал Петунин. — Хотя бы завтра вечером. Я тебе поясню еще кой-чего.

Она обернулась в полоборота и сказала расслабленно и искренне:

— Боюсь я... Выйду—нагрешу—а вдруг свету конец.

— Ну тогда, если ничего не будет, приходи через неделю вечером вон к этой баньке.

\* \* \*

Поздно вечером Евлан, задав скоту корм, топил чугунную печку. Приоткрыв наполовину дверь, Ефим Лукьяныч встал на пороге и сказал строго:

— Евлан, подымись ко мне в зало!—и скрылся за дверью.

Евлан перемешал в печке и плотно ее закрыл. Надев почище пиджачишко, он пошел наверх, думая: «Зачем это я понадобился хозяину в зало? Доживаю у него второй десяток, а в зало он меня ни разу не приглашал. По самым важным делам переговаривал со мной на дворе, в людской или на кухне».

До уха доносилось однотонное, смертно-тоскливое пение—это староверки справляли вечерню. Слышал он это пение много лет и каждый раз эти звуки вносили в душу скорбь, боязнь бога, сознание собственной ничтожности, вселяли способность к утешению и терпению.

Ефим Лукьяныч сидел в большой комнате, которая называлась «зало», потому что была самая большая в доме, и пил чай. Комната заставлена глухими и зеркальными шкафами, сундуками; в дальнем углу стояла громадная, широкая супружеская кровать. На стене висела только одна, но очень крупного размера, картина «Гибель Помпей».

Евлан неловко сел к столу. Наливая ему стакан чая, Ефим Лукьяныч объяснил:

— Жизнь моя, Евлан, стала плоха, да и стар стал, вот и приходится думать о конце своей жизни. Насчет завещания хочу с тобой посоветоваться.

— Это дело,—одобрил Евлан:— ежели не хочешь свое добро в разор пустить, должен ты, Ефим Лукьяныч, свой огромный дом к рукам приставить.

— Вот, вот, оно самое... Я и надумал обсудить с тобой положение моего дома, как ты у нас живешь несчитанные годы и почитаем мы тебя за своего, за родного.

Евлана охватила стеснительность: «ну-ка, какое уважение!—и радостное предчувствие,—это он, видно, о Павлуше хочет говорить. Замечаю я последние недели, что они Софью за Павлушу прочат. Да и она, вроде, как готовится. Вот какое счастье нам прет. Ну зато и парень! Стоит этой невесты».

Ефим Лукьяныч пододвинул ему ландрин и полубелые искусно вышеченные крендели.

Это был еще крепкий старик с большой шарообразной головой, с округлым и чистым лицом, на которое даже морщины ложились неохотно. Но старческая дряхлость уже ослабила и ссутулила его широкоплечую фигуру.

Когда-то славился он по округу как конский знаток, ловко торговал лошадьми на базарах и ярмарках и имел свой конный завод, в котором держал трех орловских кобылиц и табунок молодняка. Были у него свои луга, пятьдесят десятин леску.

— Осталось—дом да пашня,—горевал теперь Медвянов,—и под них уж добираются

Когда Евлан освоился за столом и выпил стакан чаю, Медвянов торжественным шопотом сотворил молитву и сказал с жутью в голосе:

— Сестрице Маргарите вчера видение было. Ангелочек явился ей в золототканой одежде и говорит:—«Мати Маргарита, взгляни по левую сторону». Она взглянула: полыхает полями и на краю полями стоит наша деревня. Тогда ангелочек показывает перстом и вещает: «Мати Маргарита, воззри сюда». Сестрица Маргарита взглянула и замерла. К нашему дому в образе огромной змеи подползает Миколка Петунин и огненная мерзость пыхает из его пасти. И что же? Осталось ему недалеко, а подползти вплотную не может,—над нашим домом витает благодать божия и не дает ему подползти. Ангел грозно ткнул перстом и приказал: «раздавить оную гадину».

Медвянов тяжело дышал.

— К чему бы это, Ефим Лукьяныч?—заискивающе спросил батрак.

Хозяин отпил полчашки чаю и заговорил снова:

— Миколка Петунин колхоз в деревне сбивает, мою землю в колхоз хочет отхватить и хлопочет, чтобы меня за пределы выслали. Что, сестриц—и на тех грозится в тепле донести. Весь дом мой хочет нарушить.

Евлан скорбно поджал губы, сокрушенно качал головой и тянул сочувственно:

— А я слышу по деревне об этом твердят все и от тревоги не знаю, где ум успокоить. Что это—думаю—Ефим Лукьяныч ничего не делает, разве не боится?!. Опять послушаю, что говорят по деревне и страшно делается за вас, аж не продохнуть. Не может быть, чтоб Ефим Лукьяныч поддался, эго, мол, не затопчешь, не такая голова. Как же ты, Ефим Лукьяныч, думашь против этого выступить?

Хозяин подвигается ближе к Евлану и лезет в душу сладкими искренними словами:

— Оба мы с тобой, Евлан, старики, смерть у нас с косою за плечами стоит, земли нам только по три аршина нужно, так давай позаботимся—детей устроим на закате дней своих.

Он наклоняется к Евлану и шепчет:

— Приедет Павел, хоть в первый же день Софью за него отдам... Дом, скот,—все будет ваше, только...—Тут голос Медвякова падает и он от ненависти хрипит: — только ты мне за это... пришиби Петунина.

Хотелось Евлану закричать, обругать Медвянова, но будучи рабом до глубины души, он не посмел пошевелиться и только разочарованно вздохнул:

— Дорого берешь, Ефим Лукьяныч.

— Ты ведь пойми, что если он будет жив, то все у нас отберут. Мы с тобой по миру пойдем, да и Павлу с Софьей больше ничего не останется делать.

Слова Медвянова ложатся твердо и убедительно. Евлан отрицательно мотает головой:

— Грех, Ефим Лукьяныч. Большой грех...

— Это ты не скажи,—махает на него рукой хозяин: — Раз ангел перстом указал, значит, не грех совершать, а божье приказание будешь выполнять. Вот сколько святых книг я прочел—видишь,—указал Медвянов на полку,—и во всех святые одно, как в трубу, трубят, что убивать таких не грех, а спасенье душе. Неисчислимо грехов снимается, и за это твою голову невидимое сияние праведника окружит.

— Кто е знает, может, окружит, а может, и нет,—ведь ангела-то я, Ефим Лукьяныч, не видал.

— Разумеешь-то у тебя, Евлан, куричье,—возмущается хозяин: — ты и выпиваешь, ты и куришь, ты и скотину матерным словом кроешь, да тебе бы ангел явился... Какая гордыня! Самый безгрешный у нас в доме человек сестрица Маргарита— вот ей и было божье ниспослание. По христовым законам ни один даже самый легкий ангел к грешному человеку являться не может, потому что вокруг его беспрестанно витают черти.

Батрак стукнул своей шершавой заскорузлой ладонью по столу:

— Не сердись на меня, Ефим Лукьяныч, я скажу тебе прямо—не могу! Робкий я... Сердца у меня для этого не хватит...

— Выпьешь на этот случай.

— Вино тут помога плохая: мало выпить—не проймет, много—свалишься.

Ефим Лукьяныч, подавленный и мрачный, откинулся на спинку стула и засопел. Ему противна такая неразвязность, не предприимчивость.

Ведь все медвяновское богатство останется сыну ходуя. Все то, что он наживал десятками лет, рассчитывал, по-

купал, обманывал людей, заставлял работать за гроши, разорял и молился, обманывал и жалел, сколачивая свое крупное и оборудованное хозяйство, пойдет за одно спасибо. А какая жена будет—на всю округу лучшая. Около такой бабы можно забыть все на свете, такая за десять лет груду ребятишек наносит и ни на что не пожалуется,—только корми... А какая развитая, и одевается чище городских. Кабы не такие тяжелые времена, так разве бы ему дураку, сыну батрака, дали такую девушку. Понюхать и то бы никогда не привелось. Ну, а в теперешнее время—на вот ешь наше, другого выхода нет.

Он смотрит Евлану в глаза, презрительно морщится и говорит возбужденно:

— Ах, ты, птица навозная, туда же о сыне любишь говорить, счастья ему желаешь, моей Софье намекаешь породниться, а для всего этого рукой двинуть боишься. Вот от того такие, как ты, и бедны, что голова у вас заячья.

«Ишь, ведь, как Миколка тебя пришер к стене,—внутренне усмехается батрак:— до чего тебе укокошить—то его надо... Гляди, как зарумянился—последняя кровь в старике заиграла».

— На, вот, держи,—снова заговорил Медвянов, протягивая руку Евлану.— Пойдем вместе: ты остановишь, а я его кокну и дело с концом. Только никому ни одного дыха. Не вздумай с кем посоветоваться на улице. Хоть ты и не дурак, но такая промашка с человеком может случиться.

Евлан видит перед своим лицом волосатую, мясистую ручищу хозяина, протянутую для утверждения сговора, и дрожит. Затем его рука, с сведенными в суставах пальцами, ложится в его руку.

— Ефим Лукьяныч, ведь узнают... не утаишь этого. Сразу на тебя подумают. От ответу не увернешься.

— Я сделаю так, что не подумают,—твердо уверяет Медвянов, выставляя из старинного дубового буфета графин с водкой и граненые стаканы. Потом он ставит на стол вареную рыбу, блюдо хлеба и большую продолговатую тарелку винегрета.

— Тебе виднее, Ефим Лукьяныч, обделать все так, что не подкопаешься. Недаром бывало на базарах мужики шутили, что у тебя голова губернаторская.

— Да уж придумаю—десять комиссаров так не придумают,—соглашается довольный собой Ефим Лукьяныч:— давай выпьем по-родственному. Скоро, Евлан, вместе внучат качать будем...

По комнате пробегает тихо-шуршащий, робкий и незаметный, как мышенок, довольный смешок батрака:

— Внучка покачал бы я от всего сердца... Ну, только пустяк мне осталось жить—чую, все во мне подработалось—досталось мне на своем веку—больше нельзя.

— Ничего не поделаешь, раз господь тебя на такую жизнь создал и благословил. На том свете зачтут труды твои—уверяет хозяин:— старайся, чтобы вот сынку другая дорога досталась.

Водка булькает в стакан лениво, умиротворяюще.

В полночь Евлан спускается по темной лестнице к себе, в людскую. Ему кажется, что ступеньки хлябают, того гляди выпадут, перила качаются и он решает: «Вот Павел придет, надо будет ремонт навести. Молодой глаз нужен дому».

— Чересчур зашибло... Выпили порядком,—заключает он вслух. Потом мучительно долго отыскивает дверь в свой угол. По дороге к топчану натывается на печку и тут же сваливается.

Евлан лежит враспяжку; ему тяжело, тошно... Не спится. В голове горят мысли, как сухая лучина.

«Выпьем по-родному»,—припоминает Евлан слова хозяина. Это :зьян-то! Дожил, все будет наше. Павел—главным. Он у меня настойчивый, зво! Держись у него только, все в руки заберет.

Он обдумывает все—как придет сын, будет свадьба, как его, Евлана, Софья будет звать папашей... Только вот бы условие-то исполнить. Он представляет на миг высокого Петунина убитым, и ему делается страшно. «А вдруг узнают, что это мы пришибли...». И он старается как можно скорее успокоиться, убедить себя, что это просто. «Мудрено ли... У Ефима Лукьяныча рука чижолоая... Ну, а я тут в чем-нибудь помогу... Зато сын поживет в свое удовольствие».

Таких, как Петька, жалеть нечего... И Павлуша с ним не дружил. Бывало, до службы, он выпьет, с парнями по деревне погуляет, девок потискает, а Петунин сейчас на него в волость донос,—мол, Дудкин позорит комсомол и портит ячейку. Сколько раз Павла в волость таскали. А чего в этом подсудного? По молодости полагается и выпить и подурить».

Разжигая ненависть против этого беспокойного, непонятного парня, Евлан вспомнил одно свое столкновение с Петуниным и окончательно возненавидел его. Дело было полтора года тому назад, осенью. Медвянов сам платить сельхозналог никогда не ходил,—ему непереносно больно было платить деньги в советскую казну, посылал Евлана. И в тот раз он дал ему окладной лист, деньги и сказал, как и всегда:

— На, вот, выбрось им мой кусок!

Пошел Евлан, заплатил налог. Потолкался в сельсовете. Тут его и остановил агроном:

— Ты из Гудежа?

— Ну, к примеру скажем, оттуда.

— Отнеси, вот, вашим мужикам бумагу.

Евлан присосанился:

— Это мы можем.

Агроном объяснил, что через неделю в селе будет сельско-хозяйственная выставка: пусть гудежские мужики несут экспонаты.

Объяснив, что такое экспонаты и куда с ними обращаться, он оглушил Евлана,—за лучшие экспонаты будут даваться премии до пятидесяти рублей.

В деревне первым делом Евлан дал бумажку почитать хозяину. Ефим Лукьяныч, вздев на нос очки, читал вслух медленно, громко.

— Вот тебе бы, Ефим Лукьяныч, отвезти овес али тыкву...

Медвянов с сожалением ответил:

— Не допустят меня... Вот ты, если в тебе ловкость есть, можешь пятьдесят рублей в карман положить. Овес у меня—ни у кого нет такого. Вытащи куренек да отнеси, а запиши на себя... Бедняк, мол, Дудкин вырастил. Пятьдесят целкашей на земле не валяются. А бумажку эту спрячь.

Через четыре дня Евлан отнес в село два снопика овса.

Наступил день раздачи премий.

— Делать чудеса, — вещал с трибуны агроном, — научила агрономия. Неужели бы бедняк Дудкин без помощи агрономии смог вырастить этот овес?.. Тысячу раз нет, товарищи! Комитет сельско-хозяйственной выставки постановил наградить т. Дудкина премией, в виде портрета Ильича в рамке.

Дудкин похолодел: — вот тебе и пятьдесят рублей, — но какая-то внутренняя сила толкнула его вперед и он пошел получать портрет. Дудкин принял портрет и лицо его перекопилось — Ильич смотрел на него веселыми, насмешливыми глазами и взгляд его говорил: «Ты что же Дудкин, обманство-то разводишь? И не стыдно! Ах, ты — чужак! Понятия в тебе нет».

Дудкин зажмурился от пронизывающего взгляда, и когда открыл глаза и посмотрел на портрет, Ильич смеялся еще больше — Евлан вздрогнул и выронил из рук портрет.

Агроном засуетился: «не волнуйтесь, товарищ Дудкин, не волнуйтесь», — поднял портрет, подал его и бережно проводил награжденного с трибуны.

Тут кто-то дернул Евлана за рукав. На него смотрел Колька Петунин и смеялся:

— Хороший овес у тебя, Фомич, уродился. Много намолотишь. Я с самого начала стою и прямо-таки усмелся.

Дудкин шарахнулся от него и зашагал, как настеганный, вон из села. Портрет жег ему руки...

«Куда я его дену?! Свой дом заколочен, а хозяин с портретом-то выгонит... Бросать? Страшно бросать портрет такого великого человека. Павел сказывал, что он за бедных старался».

Дудкин свернул в придорожный перелесок и сунул портрет под можжевельниковый куст. Выходил из перелеска, думая: «не найдут под кустом, а потом снегом занесет», а на дороге стоял Николка Петунин и кричал:



— Премню-то куда дел?

Евлан обессиленно остановился.

«Как дьявол, за мной ходит,—внутренне закипел Евлан:— Вот нечистая сила на мою голову. Что с ним поделаешь? Под суд может подвести».—Дудкин струсил и стал оправдываться:—под куст убрал. Нельзя мне его домой нести—анафеме меня предадут. Ты уж, Миколаша, помолчи об этом. Оплотка со мной вышла. Бес попутал—денег захотелось... С кем ведь не бывает.

— Навадишь вас с хозяином,—мрачно ответил Петунин и пошел в перелесок искать портрет.

Портрет этот и до сих пор висит у Петунина в избе.

Молчать он не стал—рассказал всей деревне, да мало того—написал в газету. Агроному, говорят, здорово попало.

А Ефим Лукьяныч как ругался: «растяпа», «портянка», «старая ворона». Сам же научил, а потом изругал всего. Такой уж характер у него. Надо бы, говорит, заранее узнать, чего выдадут и во-время смыться. Поди-ка узнай... Ловок больно.

Пьяный Дудкин ворочался на топчане и злобился:

— А-а, позору предал мою седую голову—не пожалел. Ну и я тебя не пожалею. Пришла моя минута тебе отплатить. Попадешься ты нам на узенькой дорожке. — И в этих злобных размышлениях вертелась любимая, согревающая душу, мысль: «Я прожил свою жизнь, как ломовая лошадь. Мною понукали, меня презирали, надо мной смеялись, так пусть сын поживет лучше всех в деревне, мое невзятое счастье прибавится к его счастью».

\* \* \*

Павла целыми часами думала о счастливой, райской жизни. Шел ей двадцать второй год, а жизни она совсем не знала: были только молитвы, работа, еда, сон. Тянуло к настоящей людской жизни. И не оттого ли будущая райская жизнь, ради которой она жила, пропитывалась в ее воображении страстью, плотью, радостными девичьими волнениями. Смерти она не боялась. По учению секты смерть являлась долгожданной наградой бога, смерть—ступень в царство божие. «И вот хорошо,—думала девушка,—что я попала в самую правильную веру. Вот-вот грянет труба архангела и весь мир вздрогнет и предстанет перед богом. Для нее это будет несказанно красивый и радостный праздник. Неужели я достойна райского житья!». И отвечала:—я постоянно молюсь, не знаю жизни, не совершала никаких грехов, кроме помыслов греховных, которые тотчас же замаливала. Значит я достойна. И Капитолина тоже достойна. Маргарита первее всех попадет,—она старшая в келье и сильно ревнива к богу. Но, вот, что это такое? На нее один раз осердилась Матрена и долго ворчала о том, что Маргарита скинула троих детей от Ефима Лукьяныча. Как

это понять? Верно или неверно. Капитолина говорит, что это в деревне придумали нарочно, чтобы опорочить келью.

Только вот жалко Софью. Вчера стала говорить ей, что скоро конец света, надо молиться и готовиться, а она огрызнулась: «Это я уж сотый раз слышу—надоело». И Ефиму Лукьянычу об этом сказано, а он хоть бы что, и ухом не ведет. Ну что ж с них спрашивать—они мирские. Им не хочется верить в конец мира. Они все в грехе погрязли».

При каждом шорохе, стуке она вздрагивает, а Капитолина приподнимает голову и закусывает нижнюю губу, и черные глаза ее блестят в это время страстным ожиданием.

Но это стучит лошадь копытом о стену или боров подрыывает решетку и приподнимает ее могучей шеей, или Софья чего-то уронила в своей комнате. И опять все тихо. Опять мертвая, непонятная тишина. Павла глядела в окно (Капитолина сейчас же приподнимала голову и напряженно ждала) не показалось ли где огненного просвета, не разверзаются ли небеса, не мелькнет ли архангел с трубой...

По потрепанному невозмутимо, таинственно простиралось небеса. Смотрела она подолгу и ей становилось непереносно тоскливо: небеса, где сидело всемогущее существо, начинали казаться серым полем, по которому невидимые пастухи гнали несчетные стада то черных, то серых овец: по мутному весеннему небу двигались лениво серые и черные тучи. Она уходила от окна, бросалась на койку и плакала долго легкими слезами, а Капитолина ворочалась с боку на бок и до крови искусывала нижнюю губу.

Шестую ночь молились до часу ночи. Были все те же стуки и мохнатое апрельское небо.

После моления Маргарита зачем-то ушла вниз и не возвращалась часа два. Хромая Матрена сердито шептала, кося то и дело глаза в сторону двери, куда скрылась Маргарита; потом легла и через несколько минут захрапела. Девица вышла в другую комнатушку. Павле сегодня не хотелось ходить из угла в угол—ей овладело бессилие и разочарование. Двенадцать часов давно прошли—час когда должно было начаться светопреставление.

Маргарита ушла вниз хмурая, подавленная. А вдруг,—пронзила слабое сознание Павлы догадка:—А вдруг она ушла к Ефиму Лукьянычу, как ходила, может, все время. И Павле поверилось в трех маргаритиных выкидышей, в какую-то нелепость ее веры. «И бога-то верно нет», мелькнула мысль и по телу сразу побежали мурашки. И Софья показалась такой счастливой и все знающей. Будто на яву прозвучали ее слова решительные и сердитые.

Слабость и скорбь охватили все существо Павлы. Уснула она тяжелым, неестественным сном и ей снились розовые морды чудовищ и темно-желтые с одуряющим запахом цветы.

Проспали все до десяти часов утра и проспали бы еще больше, если бы не разбудила Маргарита, говоря:

— И на сей раз господь решил пощадить мир. Опять, милосердный, пожалел грешный человеческий род.

В тот вечер Павла вышла на реку к Петунину. Он стоял у бани и смотрел на дремучую лесную темноту заречья. Заслышав шаги, он обернулся:

— Павла... Золотко... Пришла...

Она потушилась немного и молчала.

Он легонько схватил ее за оба плеча и повел дальше. Сели на валившиеся за баней бревна. Петунину стало хорошо, весело от того, что она пришла,—значит, любит его, будет с ним, а ведь такая девица, что как поглядишь—бросает в жар.

— Вот тебе и-и к-конец, м-ми-мира,—заякаясь от восторга заговорил он:— я же говорил тебе,—никакого светопредставления не будет... Если сказать об этом в городе или на фабрике, ухохочутся. На, вот, почитай, почему бога нет и религия есть обманство.

Он засуетился, расстегнул верхние пуговицы тужурки—пазуха была набита книжками.

— Кое-какие тут я в селе в библиотеке подобрал, а остальные все свои.

Павла остановила его руку с пачкой брошюр:

— Не падо... В келье мне нельзя читать такие книжки. Да и пойму ли я в них чего?

— Поймешь, даю честное слово. В них все просто написано... Для массы...

— Не возьму. Только себе хуже сделаешь. Маргарита живьем съест меня за это.

Ее слова звучали убежденно. Петунин на минуту опешил, потом нашелся и заговорил еще горячее:

— Переходи ко мне—я тебе все книжки разъясню. Настоящую жизнь начнешь, а то тут так и згинешь. Задуют подушкой или калекой сделают.

— У нас не душат. Это в другой вере.

— Ну красоты как-нибудь лишат, чтобы ты в мир не стремилась и «старцы» на тебя не соблазнялись.

На это она ничего не ответила, только в раздумьи дышала тяжело.

— Как же ты сюда попала?—спросил раздраженно Петунин.

— Верно как и все попадают.— В ее голосе чувствовалась беспомощность и обида.

— Наше село на Иргизе. Почти все кулугуры,—рассказывала она тихо, медлительно, будто сказку.— Приехал проповедник самой правильной веры христовой, старец Спиридон. По всем—говорит,—святим книгам выходит—через семь дней конец мира. Надо сейчас же спастись. Бросайте, говорит, все

мирское греховное, оставляйте отцов, матерей, бросайте дом, наряды, мирские заботы и идите спасать душу. Из всех семидесяти семи вер самая правильная наша, только в нашей вере можно спастись и попасть в рай. Осталось, говорит, только семь дней. Два дня он нас уговаривал. Упустите время,—пойдете на муку вечную. Ну и пошли спасаться. Парней только двое, а девушек—девятнадцать пошло. На другой день нас крестили и на той же неделе развезли в разные стороны на сотни и тысячи верст. До этого меня звали Машей. Семья была большая, жили бедно.

— Через семь дней ведь страшного суда не было. И ушла бы обратно, если была так темна, что поверила этому проходимцу.

— Как попала, так в руки взяли, голову-то забили писанием.

Петунин подвинулся к ней и обвил ее своими длинными руками. Прошептал на ухо просяше, душевно:

— Приходи ко мне. Спасайся, беги от них. Никакого бога нет и спасенья не надо. Маргарита ведь с Медвяновым живет. Сказывают—сколько детей она внутри умервила. А ты говоришь—бог, рай, спасенье... Павла... Маша... Золотко, приходи! Когда придешь? Приходи завтра.

— Подумаю.

— Нечего думать... Все ясно. Будем жить вместе, читать, работать в колхозе.

— Ребятишки у нас будут—в тебя—беловолосые, синеглазенькие. Все равно вам жить негде будет—Медвянова мы раскулачиваем: дом, скотину, машины и землю—все у него отберем.

Павла не слушала, она всхлипывала и мысленно спрашивала себя:

« Неужели пять годов понапрасну потеряны? »

А Петунин все настойчивей спрашивал:— Когда придешь? Согласна ли?

И она обронила:— На этой неделе. Обдумаюсь, как следует, и приду.

— А чтобы не передумалось, выходи каждый вечер сюда на свиданье.

Она колыхнулась ему на грудь, и Коля, прижав к себе, поцеловал Павлу в надбровье.

\* \* \*

К колхозу деревня отнеслась внимательно и хлопотливо: на тех же днях все эти волнения, переживания, думы, порожденные этим делом, стали привычными, близкими. Вступило двадцать шесть дворов.

Пожелал вступить и Ерофей Лобуда и это внесло в ряды записавшихся разногласицу и даже испуг. Крестьянством

Ерофей никогда не занимался, держал двух псов—гончую и лайку, до десятка лесных певчих пичуг и занимался охотой, играл на свадьбах и вечеринках на гармошке, а в остальное время плел корзины и ухаживал за вдовами.

Самой дорогой и любимой его вещью было ружье, имеющее, как и всякая достойная вещь, свою историю. Его Ерофей любил в ранней юности, когда пас скот в имении графа Татищева. Ружье бельгийского мастера, одноствольное, ствол шестигранный длиной с добрый черенок ухвата, необыкновенно прочной и точной работы. В семнадцатом году Ерофей заблаговременно пронюхал, в какой день крестьяне ринутся в барское поместье, и ушел туда. Вынес он оттуда одну единственную вещь—ружье.

В колхоз Ерофей просился настойчиво.

— Я очень животный мир люблю,—объяснял он:— я буду на скотном дворе работать или могу взяться за разведение курей через инкубаторы. У меня даже есть подробная книжка о них. Инкубатор купить одному, конечно, дело не под силу. Я разводил курей через печурку, ну прямо скажу—ничего не вышло, потому что я печку топлю через день, а как некогда, так и через два, и яйцам то жарко, то холодно. Опять же возьми—уток у нас можно разводить—река рядом.

Петунин кричал за то, чтобы принять Ерофея. — Работы в колхозе всем хватит и такому таланту как Лобуда,—доказывал он:— будет по своей специальности работать. К тому же человек ценный—много читал.

— Напрет на него статья и уйдет он на охоту в рабочую пору, а ты за него ломи боком.

— Уйдет, так прогул запишем и выговор дадим.

— А почему же ты до этого места землю не пахал?—схибно спрашивал его Наперсток.

— Лошадь одному держать нет расчета. Да и надрыть себя не из-за чего было.

— Жену бы взял, да и жил, как люди.

— А куда мне жена, раз детей от меня нету. Все равно жить не будет—уж я их знаю.

Середняки и бедняки-лошадники говорили Петунину укоризненно:

— Наберешь ты всякой швали и ничего из-за этого не выйдет. И в колхозе житья от них не будет.

— Не бойтесь, всех заставим работать, потому как плата будет за рабочий день. Если Лобуда плохой работник в поле, он будет выполнять работу специально по своему таланту.

Софрон Дочкин осадил Петунина недоверчивым кивком головы:

— Ишь ты какой ловкий... Как это все бойко у тебя выходит. Мы лошадей приводим, большие пай кладем, а с него что ты возьмешь?

— Я уж вам много раз рассказывал: паи будут возвратные и безвозвратные. Твое богатство никуда не пропадет. А если ты поживешь и увидишь, как удобно и прибыльно работать, и душа у тебя переродится в колхозную, тебе будет ничего не жалко для общества.

Погода в те дни стояла скверная: слякотно и холодно, шел снег и таял, переставал часа на два и потом опять шел полдня и таял, и дул холодный ветер, и необъятное небо дымилось низко над деревней и двигалось сегодня в ту, завтра в другую сторону.

Зашел в полдень к Петунину Пушкин—сосредоточенный, подобранный вес. Курил долго и молчаливо поглядывал на друга. Петунину показалось, что Пушкин пришел сказать слова укора, и он осел, стушевался. Каждый вечер теперь он уходил.

Хоть свидания были короткими, но, все-таки, ребятам приходилось сидеть одним в его избе час, полтора. Без него читали, спорили. При возвращении было стыдно и неловко.

Ребята шутили дружески—снисходительно, беззлобно...

Костя Багя, прошлым летом настойчиво охотившийся за Павлой, каждый раз неизменно спрашивал:

— Подвигается дело?

— По-маленьку сдается,—хихикал Петунин.

— Ну, значит, староверочка у нас на хозяйском месте сидеть будет...

— Не лишила бы нас помещения коим грехом. Да, да,—предполагал Тишка Летчик.

— Небось, не лишит,—хмурился Петунин:— ну давайте сегодня читать нормы оплаты труда в колхозе.

Но в этом Пушкин, вероятно, ничего зазорного не видел и потому заговорил раздумчиво о другом.

— Трактор бы надо выхлопотать... Как же это колхоз и без трактора. Если бы трактор у нас на поле зашумел—знаешь как бы это нас разжигало.

— Справлялся я. Не получим. У вас, говорят, лошадей много подбирается. Если нажмете, справитесь на лошадях, а в случае, если затрется дело, к вам из совхоза «Сознание» трактор перебросим на несколько дней. Шесть плугов, вот, нам дают.

— Это я знаю,—заботливо протянул Пушкин:

— Ну, да у Медвянова четыре железных плуга. Два из них пароконных. С инвентарем, кажись, ничего получается.

— Вчера Евлана встретил у риги,—перебил его Петунин:— Вступай, говорю, в колхоз—хватит—помаялся. Сначала молчал долго, потом говорит:— это одна пустая булга. Родные, вон, семьями живут и то лад не берет, ругаются, да расходятся, а вы такую орду собьете—так у вас все перережутся. Это, говорю, песня старая, она нам надоела. А как хозяин себя чувствует перед вылетом?

— Богу молится день и ночь. У него одна надея, что господь его сохранит, как прожил всю жизнь.

— Пушай, говорю, молится больше, а то не умолит.

Вечером того дня Петунин выходил на свидание. Смотрел на Павлу укоряющим, жалостным взглядом своих маленьких, решительных глаз.

— Все еще не решилась?

— Дни такие страшные—великий пост—боязно как-то, Коля. Решиться не могу. Забили мою голову священным писанием; думы мирские никак его сломить не могут.

— Что ты, как глупенькая... Неужели не видишь, что секта ваша—грязная, старая, обвалившаяся яма. Вот от книжек ты зря отказалась. Почитала, так давно бы ушла. Разговаривать-то с тобой... Ребенок и то скорее поймет... Вон у нашего избача в селе симпатия—вот это девчонка! У нее бабушка умерла, а ей в этот день в спектакле главную роль надо было играть. Отец ей заявляет:— не смей ходить на спектакль! Не дозволю надругаться над покойницей. Она к избачу:— как быть? Избач говорит:— нельзя спектакль срывать, обязательно играй. Пришла и хорошо играла.

— Не ругайся, Коля, соберу по тайности свои пожитки и уйду.

Он смело обнял девушку и целовал ее большую, теплую.

\* \* \*

Борьба тепла с холодом продолжалась долго, но за последние дни тепло явно пересилило. По дорогам нельзя было ездить—лошади проваливались, в низких местах дорогу перегрызли ручьи. Холодный ветер сыпал в лицо мелкими хлопьями снега.

Ветер дул сбоку. Петунину почти было удобно идти, слегка отвернувшись и надвинув шапку на подветренное ухо. Он шагал крупно, легко и спокойно; километры убавлялись незаметно.

— Весна пошла,—радовался он;— такой весны еще никогда не бывало. Голова туманится от ожиданий и рвения. Будем работать колхозом, ударно, машинами. Сколько впереди новых дней, сколько нови.

Сначала ему представляются первые дни пашни, потом мысль ненадолго останавливается на полевых картинах колхоза в июне, затем перескакивает на жатву и молотьбу... В поле, в колоннах колхозников мелькает лицо Павлы. «Если ее перевоспитать, из нее выйдет невиданно жадный до новой жизни человек,—решает Петунин.— Приду, говорит, приду. Чорт ее знает, когда она придет. Да и меня все дома нет...

Сегодня разноска почты, завтра надо бежать в район, чтобы выезжали раскулачивать Медвянова и передавать его имущество колхозу. Сам сельсовет не чешется и сваливает все

на район... А район о существовании нашей деревни может и забыл совсем. А после завтра опять разноска почты... Вечером притти постесняется—ребята у меня каждый день собираются. Надо сказать матери, чтобы приняла поласковой, если придет она без меня.»

На переезде Петунин пересек железную дорогу. Здесь раньше была будка, но года два тому назад по рационализации ее снесли, починили помост переезда. За переездом крестьянская дорога раздваивалась: одна наезженная, высокая шла в село Чувиль, другая заснеженная, мягкая—в Гудеж. Гудежская дорога шла сначала почти параллельно полотну, потом свертывала в перелесок. На выходе из перелеска Петунин увидел идущих ему навстречу Медвянова с батраком.

— Вот как раз отдать,—привычно смекнул Петунин,—письмо Дудкину есть...

Когда поровнялись, Евлан протянул цыгарку, зажатую между двух пальцев правой руки, и селился попросить спичку.

— Замерз?—усмехнулся Петунин, заметив—как дрожит его рука. — Зима не хочет сдаваться—кусается. Чего ты, дядя Евлан, тянешься, ты же знаешь, что я не курю. Радуйся,—тебе есть письмо от Павла.

Евлан уронил цыгарку и принял письмо.

В это время Медвянов ударил Петунина сзади изо всей силы старинной проржавленной десятифунтовой гирей по затылку. Петунин ринулся бежать, но на шестом шагу ткнулся грудью на дорогу.

— Готов парень,—проскрежетал углом перекошенного рта Медвянов. Он стоял на дороге седой, здоровенный, откинув правую руку, из которой выглядывала, как начинка, ржавая гири. Петунин неожиданно повернулся на бок и остановил смертельно-испуганные маленькие карие умные глаза на лице батрака и пролетел.

— Как же это ты, дядя Евлан... Ты... Ты... И Павла не сказала... Пав... Павла-а...

Медвянов задрожал в испуге и остервенело закричал тонко, с воем:

— Бей-бей... Бей-бей его, старый чорт!..

Боком, неслышающимися ногами Евлан шагнул к Петунину, вытаскивая из кармана гирию, но он уж корчился в предсмертных судорогах. Медвянов очутился впереди батрака и ударил Николая несколько раз в темя. Последним остатком жизни откинулась в сторону левая нога и тело застыло.

— Бери!—приказал Медвянов.

Сам он схватил спереди за ворот тужурки, прихватив обе полы, а батрак взял под мышки ноги трупа.

Двинувшись с места, они сразу свернули с дороги. Войдя в перелесок, Медвянов сказал: — Стой! А шапка-та. По шапке догадаются. Он бегом вернулся на дорогу, поднял шапку Пе-



тушина, слетевшую при первом ударе, положил в карман и вернулся. Евлан, крепко зажав в руках ноги Петунина в серых, толсто-подшитых валенках, шел спиной к покойнику и всхлипывал.

— Пошли, — шикнул Медвянов.

Голова тащилась по мягкому зернистому снегу и за ней тянулась, шурша по снегу, почтовая сумка. Вскоре они донесли труп до полотна железной дороги и положили головой на рельсу. Медвянов вынул из кармана и надел на голову покойного шапку, Евлан поправил ноги и положил, как должна быть, сумку.

Отойдя по полотну с полверсты, они свернули на лесосеку, с которой гудежские мужики еще недавно кончили возку дров (по этой дороге можно было войти в деревню с гумен). Вдали послышался шум поезда. Медвянов остановился и сладко вздохнул, затем снял шапку и перекрестился:

— Славу богу... Видно товарный... В аккурат ему башку жамкнет... Сам господь нам помогает. До вечернего-то еще час, али больше... Евлан очнулся от оцепенения, выхватил из кармана письмо и стал целовать его, размазывая адрес, написанный химическим карандашом.

Медвянов с замиранием сердца слушал шум поезда и двинулся дальше только тогда, когда поезд загрохотал недалеко.

— Припечтало, — мысленно сказал он: — темнеть стало и снежком запорошило — машинист не заметил. Тут поезд идет под уклон.

\* \* \*

На покойника по обычаю приходили глядеть бабы, мужики, девки, хотя глядеть было не на что — от лица остался только перекошенный рот да подбородок, но люди стояли долго, ахали, пугались и в полголоса судачили. Входили и выходили. Около гроба толклись: Катин, Ласточкин, Мура, Тишка Летчик, Матвей Пушкин сидел на лавке с Ерофеем Лобудой и мучился:

— Уму непостижно... С чего это он под поезд-то лег?! Вчера я с ним разговаривал — веселее его никого, кажись, в деревне не было. Туда, говорит надо сбегать, сюда надо сбегать.

— Бывает на человека налетает такая моментальная тоска... Сильная тоска, невперенос. Хорошо отпустит скоро, — пройдёт, а не отпустит — так и бывает, что человек лишит себя жизни.

— Что это с ним? — спрашивал у гроба жалостный бабий голос. — Молодой такой и при должности был. Чего ему еще не хватало?

— Вот что, бабыньки, я вам открою, — заговорила Арина Мурлыкина: — с Медвяновым-то мы рядом живем, так все видим. По моему эта сука — староверка Павла — его сгубила... За-

мечала я, что они у медвяновской бани все встречались... Он придет и стоит долго, долго, потом глядишь она к нему идет, переваливается толстенная, да сурьезная такая... Вот она на него любовную присуху навела, парень и сник.

— Вот оно что!—заговорили бабы, пораженные этой догадкой:— Ох-ох-хо...

— Глазищи-то синие, большие, да с поволокой. Нывче таких-то девок и нет. В старину видать были, вон как в песнях-то поется. Вот она завлекла его до потери ума-разума, а бабьей-то ласки не дала, ну помраченье его и охватило.

— А я по другому прикидываю,—заявила жена Наперстка,— она, наверно, хотела его в свою староверскую веру оборотить, а он по сознанию не шел. Так она на него порчу навела, вроде как не в своем уме он к ним бы пришел, а с порчи всегда такая тоска бывает. Другие случается с ума сходят. Порча на Николая чижло легла, как был он головой очень ясный, ну и не перенес он эту порчу.

Тетя Феня валялась на полу в печном углу. Бабы постелили ей, подложили под голову. Она то стонала и выла, то билась головой о подушку, об пол.

Никакие уговоры на нее не действовали и бабы только следили, чтобы не разбила себе голову, да когда хрипела и закрывала глаза, спрыскивали ее водой.

— Что вы мечетесь, как ягнята, без толку?—сокрушенно говорили бабы комсомольцам:

— Что это он у вас какой оказался? То сбивал вас на колхоз, учил, указывал, грудил около себя, а тут вдруг голову под колеса.

— Может записку вам какую оставил?—поискали бы хорошенько!

— Все до листочка перерыли—нету,—сказал Тишка Летчик, покачиваясь на костылях, и отвернулся.

— Да ты хоть уж не реви.

— А вы эту староверку на суд стаскайте, чтобы ее за эту порчу к олеям выслали жир поморозить.

— Мы, тетя Матрена, в порчи не верим. По нашему порчу нельзя напустить. Есть такая штука гиннотизм, но это умеют делать только в городских больницах.

— Коли не верите, так любуйтесь—Николая-то как не бывало.

— Ну, а что в селе вам сказали?—с отчаянием в голосе спросил Матвей Пушкин.

— С нашей, говорят, точки зрения самоубийство—малодушное,—заговорил Катин:— для комсомольца это совсем, говорят, позор. Личное, гыт, надо поставить на самое последнее место, такой поступок, гыт, осуждаем, до самого корня. У вас, в ячейке кроется какое-нибудь бытовое разложение. Никакого, говорю, разложения нет. Не верят. Назначили обследование

ячейки. На этой неделе наверно приедут. Может, говорят, он из-за любви?

— Вот загвоздка,—вздыхнул Ерофей Лобуда:— животный мир я подробно знаю, а человека не так чтобы... Человека иногда не поймешь... Да-а...

— А в селе говорят,—видно с почты кто пустил слух,—заговорил Костя Багля,—что Петунин деньги почтовые растратил и, не зная, как разделаться, прикончил себя.

— Это враки—махнул рукой Матвей Пушкин:— если бы за ним что замечали, так разе костюмом его наградили?

— Да и какие у него были деньги,—поддержал его Ерофей Лобуда,—червонец, два...

— Почему же милиция ничего не сказала?—спрашивает Баглю Софрон Дочкин:

— Составила акт, забрала почту, а про недостачу денег ни единого слова... Это уж какой-нибудь недруг про него эту статейку сложил.

В избу вошла Павла. Все сразу замолчали и уставились на нее. Бабы у двери осторожно раздвинулись и притаили дыхание. В этой душной тишине Павла, не глядя ни на кого, мелкими шажками прошла к гробу. Она взглянула и ее пронзил ужас. Где же все то, что она любила? Не было высокого белого дба с голубой жилкой над бровью, не было маленьких карих умных глаз и даже носа. И только рот, который целовал ее в надбровье и в висок, проклинал бога, отрицал страшный суд, загробную жизнь и звал ее вкусить настоящую райскую жизнь в его избе и гудежском колхозе, лежал кривой канавой на краю обвалившейся кровавой пропасти.

Она попятилась и обхватила лицо руками.

— А-а-а-а,—вырвалось из ее груди глубокое рыдание.

Всех присутствующих покорила жуть, в этом свидании влюбленных слишком было много невыразимого чувства. Казалось всем, что в драме их любви и таится загадка этой страшной смерти.

— Что, стерва, самой страшно сделалось?—злбно прошипела Матрена Таратора:

— Не думала, не гадала, говоришь, что порча-то на него так чижало сидит. Наверно ждала, выбросит он из себя комсомолство все и молиться к тебе придет. На вот получай. Густо видно порчу на милого дружка наворотила.

Не отрывая рук от лица, Павла оглядела окружающих ужасом переполненных глаз и удивилась:

— Какая порча?

Бабы зашевелились, заговорили, перебывая друг друга.

— А вот такая, что человек ее не перенес,—знаем мы вас, староверочки, хорошо.

— Мы пребываем все время в молитве,—передразнила Людмила Петухова:— это вы дуракам рассказываете. Ваша-то

наставница—матушка Маргарита,—произнесла раздельно Арина Мурлыкина:— от Медвянова троих скинула,—как не тапсь, как не аккуратничай, а бабьего от баб не скроешь.

Павла бросила руки вниз и заметно осела.

— От такого колдовства их надо отучить.

— На суд стаскать.

— За порчу статьи нету...

— Ничего, найдется.

— Ты думала легко своротить в свою веру такого парня...

Да ведь он, как вон поскажут, на одних книжках, да газетах жил.

— Гражданки,—сказала Павла сильным, грудным голосом.

— я не знаю, из-за чего вы так на меня набросились...

Она говорила о том, что колдовства не знает, Николая она ничем не портила и помнит его только, как душевного, внимательного человека, старавшегося прояснить ее затуманенный разум и открыть настоящую правду жизни.

— Ишь ты ведь как заливает,—возмутилась Арина Мурлыкина: каждый вечер—выйду на реку пеленки замывать и вижу они за баней шепчутся, не при покойнике будь сказано, да прижимаются... Это по-ихнему называется открытие разума.

Софрон Дочкин громко рассмеялся, но его осадил суровыми укоризненными взглядами и он смолк. Павла так густо покраснела, что казалось,—вот, вот, вспыхнут ее белокурые пряди волос.

— Правда, правда,—зачастила Павла:— мы там видались. Он меня звал к себе жить, да я все робела... Говорила—вот приду... скоро приду, а на душе чего-то было боязно.

— И шла бы... чего же тянула? Такого парня—на редкость. Он бы тебя образовал по другой колодке,—прикрикнул на нее Матвей Пушкин.

— Я было совсем решилась итти к нему и пришла бы, да вот он захотел удалиться из мира сего.

— Сего, сего... Леший тебя разберет. Мудрена, как цыганка.

— В животном мире, там все понятно, а здесь возмись, вот, разбери,—качает головой Ерофей Лобуда,— не разберешь ни за какие деньги. И чего вы на девуку напались. Ничего не знаете, а готовы заклевать. Порча по научным книжкам не признается... Так что все это отпадает.

Павла с опущенной головой прошла мимо баб и скрылась, тихонько притворив за собой дверь.

— Сами слова сказать не могут,—обращаясь в сторону мужиков заявила Матрена Таратора,— и только знай все баб останавливают—это не по-научному. Ну, скажите, отчего, по-научному, парень с собой порешил? Ну, говори, научная картина!—наступала она на Ерофея.

— Ну что ты на меня лезешь. Я ведь тоже никакие курсы-то проходил.

— Сам ничего не знаешь, а туда же—по-научному. Вон, у меня тоже сам возьмет газету, сидит читает. Чего говорю хорошего пишут? Все, говорит, теория, тебе недоступно. Тево-о-о-рия! Недоступно! А им доступно. Сами ни шиша не знают, а туда же баб в разговоре останавливают.

— Мы можем книжку какую попроще осилить, газетку крестьянку разобрать... Чего тебе еще,—начал защищаться Ерофей...

У двора медвяновского дома Павлу встретила Маргарита, поодаль стоял Медвянов. У Маргариты ноздри широкого носа побелели от злости, черные глаза горели. Медвянов, заложив руки за спину, смотрел на девушку правым глазом, а левый, прищурив, спрятал под густой бровью.

— Где была?—отрезала Маргарита.

— С покойником ходила прощаться,—решительно ответила Павла, почуяв, что настал давно выбираемый момент расстаться с сектой.

— Кто тебе разрешил в мирских делах поганить себя?

— Никто... Сама разрешила.

— Это что за ответ? Анафеме предам... Прокляну навеки. В геену пойдешь. Покаяние тебе не разрешу.

— Не надо, не разрешай. Раз уж сделала, каяться не буду.—и Павла двинулась к двери.

— Куда?—остановила ее Маргарита протянутой рукой. — Клади передо мной сорок земных поклонов, тогда только разрешу вход в дом.

— Ни одного поклона не буду... Я только возьму свои тряпченки и уйду.

— В таком случае нога развратницы в наш благословенный дом не ступит.

Медвянов быстро направился в дом.

— Эх, ты,—сквозь зубы прошептала Павла,—не тебе бы говорить, не мне слушать. А кто с хозяином заместо жены жил?

— Наслушалась глупых деревенских врак, да оскорбляешь мой ангельский чин... Да и тебя троекратной анафеме предам и умрешь ты дохлой собакой, грехом и скверной опутанная...

— То и дело по ночам вниз уходишь. Ведь заметно.

— Ах, ты, распутница,—заорала Маргарита и бросилась на непослушницу.

— Стоп!—крикнул Наперсток, подбегая. — Отпусти волосы, а то руку отшибу!—и он ушпишул ее изо всей силы с вывертом за холодную, мягкую, как студень, руку.

Вокруг их стоит толпа ребятишек, мужиков.

— Когда уж они успели собраться?—подумала Павла, поправляя волосы и плат.

Маргарита, закатив от боли глаза, подняла руки и зашлапала к калитке. Наперсток, смеясь, пошел на старое место, а Матушкин встретил его:

— Надо быть перешиб ты ей руку-то—ха-ха...

Вскоре вышел Медвянов и спокойно, с расстановкой выбросил на грязную улицу узелок, небольшую круглую коробку и худые валенки, соткнутые один в другой:

— Давно видно шлюха собралась—все подвязала. Поди, гуляй—нам чужого не надо. И распутниц, которые в миру дружков заводят, да по им слезы лить ходят, тоже не требуется. Спасемся и без них.

— Ну, девонька, ты теперь, значит, полный расчет получила!—констатировал факт Паперсток.—Куда теперь двинешься на жительство?

— К Вере Портнихе пойду,—ответила Павла, отряхивая конский навоз и воду со своего имущества,—она хотела пустить.

— Она душа одинокая, она пустит,—уверил ее Паперсток.

\* \* \*

С поля, с гумен, мимо каждой избы бежали ручьи. На улице, жмурясь от весеннего солнца, группировались люди; выходили в шубах на распашку, лысые старики почему-то даже без шапок, останавливались проходившие из сарая с плетухами пыльного клевера мужики, грудилась бабы у колодцев. По улице пробежали ребятишки, кричали весело:

— Чичас понесут... Чичас...

Минут через десять на конце деревни показалось шествие. Вот ближе, ближе... Гроб несли Катви, Оська Мура, Миша Ласточкин, Костя Багля, Лида Румянцева; за гробом шли: Тишка Летчик, Матвей Пушкин, Ерофей Лобуда, Вера Портниха, Павла и молодые комсомольцы: Евтеев, Кочкин, Яровицын, Стулов...

Они грубыми, нестройными голосами пели:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Мужики снимали шапки и хмурили морщинистые, худые обветренные лица, бабы бездумно крестились на восток и говорили друг другу:

— А и плохо ему на том свете будет.

Когда похоронный марш кончился, Тишка Летчик начал его снова,—с пением легче было на сердце и все казалось, что и на самом деле у этой грозной похоронной песни нет конца.

— По нижней дороге идите,—кричали вслед им мужики: там черепок, как железный, на лошадях еще ездит.

— Ерофей, по нижней дороге их направляй... По нижней, там черепок, как шаса...

Когда процессия скрылась за деревней, из двора своего дома вышел Медвянов с разбитой седелкой в руках.

Мужики встретили его безмолвно. Чувствовалась явная неловкость, неприязнь. Он, подойдя к ним, повернул в руках седелку:

— Степану Астрийцу несю чинить. Скажи, пожалуйста, вся сбруя развалилась, а купить нигде... Нигде ничего нету... Только на старом-то и едем. Бросить бы вот седелку-то надо, аи нет погоди—новую-то купить нигде, чини седьмой раз старую.

— Захочешь, так найдешь. Что зря говорить... Недавно я в селе новую седелку ухватил,—возразил Иван Матушкин. Медвянов стушевался и загорячился:

— А что вынешние-то седелки. На пашню ее не хватит, стало-быть, на погляденье только сделана.

— Что поносятся—гадать не буду,—отмахнулся от него Матушкин.

Скромность ответа Матушкина сбила Медвянова с толку. Крепко, задумчиво помолчали. Разговор продолжил Софрон Дочкин:

— А мы все догадки строим, Ефим Лукьяныч, отчего Петунин с собой порешил? У тебя сметка обширнее нашей,—вот, ты бы как это дело рассудил?

Тень нервного потрясения пробежала по лицу Медвянова, он передернулся, но сделал это так, будто бы ему захотелось встать поудобнее, перехватил за другое место седелку и, надував ответ, оправился:

— Народу нынче много е ума сходит, так что тут мудреного ничего нет. Заделал непутевые дела у вас в головах, напортил, нагрозил без надобности хорошим людям, а потом не знает, что делать, не ведает, как разделаться, стыдно сознаться, что сдуру трепался. Колхоз! Да это заведение богом проклято в первые же годы существования мира. Еще Ноев Хам эту штуку заводил, да был за сие проклят и предан презрению.

— А будто от бога ему попало не за колхоз, а за то, что он над пьяным отцом насмешку себе дозволил?—справился Иван Матушкин.

— Это уж было после насмешки. Последний раз, значит, за колхоз бог уж совсем его доканал. Он после этого стал в роде кота, а дети его все в рабы были взяты. Так подумайте сами: раз мы в своей семье сердимся да лаем, так в колхозе горло мы друг другу перегрызем. А на баб никакую управу не сыщешь. Ничего не выйдет, только и есть кутерьма да беспорядица получится. С голоду да со злости друг на друга подыхать будем.

Медвянов ожидал от мужиков дружного поддакивания и речей о привычке к своему домку, к своей полоске. Василий Мурлыкин сбросил шубу с плеч на спину, выпятил на солнце грудь и сказал угрюмо, ни на кого не глядя:

— Знающие люди говорят, что не так страшен чорт, как его малюют.

— Конечно, если по газетам итти, да помочи от власти добиваться, так образуется все по-хорошему,—подхватил направление мысли Мурлыкина Матушкин.

- Выйдет,—уверенно заявил Наперсток.
- Какой это дурак тебе наврал, что выйдет?
- Сам я узнал, что выйдет!
- Чем же это ты докажешь?—перебил его Медвянов.
- Выйдет, потому, как мы сильно сердиты.
- Ну, вот, разговаривай с тобой,—облегченно и победно засмеялся Медвянов.

Эта теория, видимо, собственного домысла, была чем-то близка мужикам, но совершенно не ясна и из-за этого не подержали ее, но за то никто не усмехнулся вместе с Медвяновым, даже Софрон Дочкин.

— Вышло бы,—добавил Наперсток,—кабы в самое горячее время под поезд вожаки наши не бросались.

Медвянов злорадно к этому приклеил:

— Бесятся от непутовых, проклятых делов своих.

Кулак поднял над головой руку и порылся в солнечных лучах:

— Глядишь и в поле скоро выезжать. Времечко-то конем летит.

— Да, весна нынче, по приметам, грудно должна приттись,—отозвался пастух Колесов, старый, смиренный человек.

— Рожок, Пля, прочищай,—ласково бросил ему Медвянов.

Наперсток крикнул и многозначительно метнул:

— Придется верно к Калининну ехать.

— Зачем это?—насторожился Медвянов.

— Так, слово до него имеется.

— До Москвы-то далеко, далеко... Сколько денег надо, а кто тебе их даст?—расколодил его Софрон Дочкин.

— Я и без денег справлюсь. Я всегда под лавочкой ездию.

— Это верно—много ли тебе места-то надо—не билет ли выправлять? Дурака нашли,—снисходительно пошутил Медвянов,—только, надо-быть, Калинин по тебе не соскушится.

— Он не соскушится, так я об нем соскушился.

— Не на должность ли проситься?—попробовал Медвянов вышутать цель его поездки.

— Это уж наше дело, никого некасаемое.

Мужики знали, что говорит все это Наперсток зря, только для того, чтобы покичиться своей советской властью перед кулаком, но приняли его намерение деловито, серьезно.

— Вот теперь самое время—поезжай до работной поры.

— Это очень возможно... Взял с собой рубля три, доедешь под лавкой, а там в дом крестьянина. Вон его на картинках печатают—как дворец; мужики на простынях спят, лекции слушают...

— К Ленинну на могилу там сходишь... Валяй...

— При твоей легкости только и ездить.

— И на язык ты скор и сметлив.



Несли гроб девять верст без малого три часа. Дорога была рыхлая, трудная, гроб тяжел, носильщики много раз сменяли друг друга. Тишка Летчик, ковыляя за гробом, запевал одну революционную песню за другой. Пели «Варшавянку», «Марсельезу», «Интернационал».

Изю всех сил старался погасить пенне ветер весенний, теплый, озорной, но боевые песни вновь и вновь пламенели в огромном поле. Всех выше звенели голоса Тишки Летчика и Ерофея Лобуды. Если Летчик пел всей душой от жажды борьбы, от непреклонного стремления к науке, к будущему, то Ерофей пел вместе с весной, с солнечным светом, радовался радостью так любимого им живого, лесного мира.

У села их встретил один избач—друг Петунин—широкоплечий парень, с скуластым, умным лицом.

— Что это один?—рассерженно спросил Катин.

— Никто не идет хоронить самоубийцу,—отвечал избач,—противен всем такой поступок. Это, говорят, дезертирство с фронта колхозного строительства.

Избач немедленно встал нести гроб вместо уставшего Кости Багли.

— Выходят из колхоза?—заботливо спрашивал избач.

— Семеро выписались,—ответил Тишка Летчик.

— Все застыло,—добавил Катин.—Надо, ребята, из этого замешательства выходить и продолжать работу!

— Мы ведь слабо подкованы,—ответил избачу Катин:— он был куда развитее нас. У нас мало развитых и смелости из-за этого мало. Сердцем-то мы рвемся во как, а провести все это в жизнь ума не хватает.

— Работайте... Научитесь, как окунетесь в дело.

Подходили к кладбищу. Летчик жарко запел:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Подхватили дружно, громко.

На могиле избач говорил речь.

— Мы не знаем, что за причины побудили его покончить с собой. Эту тайну он уносит с собой в могилу.—Дальше он говорил привычно, четко о том, что советская страна переживает небывалую, громадной исторической важности, весну, страна охвачена пламенем энтузиазма по настоящему, по коренному переустройству деревни. Работа велика, трудна, слабые пугаются и отходят от нее в сторону.

— Может быть, поддался этой временной слабости Коля Петунин, или может его надломило личное горе и он из-за мелкого, из-за личного малодушно покинул колхозный фронт. Но в это дезертирство мне все-таки не верится,—возражал сам себе избач,—я знаю его хорошо, он был крепким парнем и уверенным, настойчивым бойцом со старой деревней...

Кончив речь, он сошел с бугорка.

— Зарывать, что ли, будем?—спросил всех Матвей Пушкин, берясь за лопату.

— Зарывайте,—тихо ответил избач.

Костя Багля и Миша Ласточкин спустились в могилу принимать и устанавливать гроб. Слышно было, как чавкали их ноги на грязном дне.

Павла, Вера Портниха и Лида Румянцева плакали. Потом шуршала земля и слышалось шумное дыхание работающих людей, да плач девушек.

На кладбищенских вековых липах орали грачи. За оградой неистовствовал ручей. Земля снимала с себя изношенные снега.

\* \* \*

После похорон Петунина наступили в деревне горестные придавленные дни. Подходила пасха. Собираться в доме Петунина комсомольцам нельзя было—тетя Феня хворала и к тому же взяла к себе жить старуху-родственницу. Собрание колхозников, созванное комсомольской ячейкой, сорвалось,—собралось мало, а собравшиеся были настроены уныло, некоторые среди собрания молча уходили домой. Их настроение выразил угрюмый немногословный Василий Мурлыкин:

— Дело это не шуточное, а народ вы жидкий, так что, по правде сказать, слушаться вас охоты нет, да и робко... Раз уж Петунин такой вострый, знающий парень с этого дела надломился, так видно, что дело не легкое... Задача с загвоздочкой.

Комсомольцы доказывали, что не из-за колхоза покончил с собой Петунин, а по какой-то другой причине, а колхоз дело осуществимое, необходимое, чрезвычайно полезное.

Мурлыкин уперся:

— Ты так понимаешь, а мы по другому думаем.

И Наперсток заметно ослаб:

— Вы ведь столько же понимаете, сколько и мы... Вот если бы из города кого прислали, тогда опять бы дело пошло.

— Какие вы руководители, коли за другом своим не уследили и не знаете из-за чего голову он себе раздробил. Прохлопали, а туда же—«мы хорошо знаем, что он не из-за этого»,—упрекнул ячейку Иван Матушкин.

...В эти дни Медвянов несколько раз ходил к Степану Австрийцу, проходил на реку, в огород—вслушивался в разговоры, вглядывался в деревенское движение и удовлетворенно выводил заключение:—Слава богу—все затихло. Никаких собраний, ни сборищ, ни хождения комсомольцев из дома в дом.—На него находило успокоение, уважение к себе, довольство своим умом, силой, решимостью.

«Как все ладно обошлось... Тихо, благополучно... А все отчего? Да потому, что хорошо придумано. Если бы на тепе-

решнее время поднять святых отцов церкви, да они бы таких змеешней давили десятками. Они, бывало, о, как круто поступали. Какой-нибудь ересь придумал, или бога, иконы хулит—сейчас его на тот свет и в ад. «Не укради»—сказал господь через Моисея, а он, Миколка, вишь придумал землю, дом со всем добром и нажитками у меня украсть.»

В эти предпасхальные дни, по заведенному издревле в медвяновском доме обычаю, полагалось «вкупать» только два раза в день, а ему не во-время хотелось свежего хлеба, редьки с льняным маслом и квасом, холодного судака, но он, уверенный, что в эти горестные дни ему в таких трудных делах помогает бог, крепился, подавлял аппетит, чтобы не навлечь на себя вместо милости божий гнев и даже нарочно оттягивал под различными предлогами время обеда и ужина. И в этот, обоснованный его несишкой, мир души врывалась одна режущая сердце неприятность: его донимала, временами мучила задиристость Наперстка и его намерение ехать к Калинину. «Неужели он что-нибудь знает? Может быть, он неподалеку шел, подглядел?—предполагал Медвянов, столбенел в ужасе, и спину, затылок кололи тысячи холодных иголок.

«Может быть, он был на вырубке, где-нибудь в стороне накладывал в дровни плахи и видел, как мы возвращались с полотна, как я прислушивался и крестился?» И Медвянов выходил на улицу доглядывать, дома ли Наперсток, или нет. Он взглядом находил его на дворе, на реке, и тогда страх спадал и на душе становилось легко, легко.

Но стоило ему не увидеть Наперстка полдня, как он начинал беспокоиться и строить предположения, от которых по всему телу бегали мурашки.

С батраком он теперь обходился уважительнее и нередко называл его Евлампий Фомич.

В медвяновском доме много молились. Келейницы справляли длиннейшие утрени, обедни, навечерицы, вечерни, и неизменно все эти службы посещал Медвянов с Евламом. Унылое, душу раздражающее пение, высокопарные, страстные, переполненные просьбами и восхвалениями, молитвы, огни лампад и яркие краски икон уносили мысль ввысь, забывались душевные мучения, враждебная деревня, кровь, смерть Петунина...

Евлан на другой же день после убийства почему-то надел новую синюю ситцевую рубашку и не снимал ее все эти дни: на пасхальные дни у него хранилась белая с черными крапинками рубашка, тоже новая. Перед каждым молением он долго расчесывал голову и бороду. Он почти ничего не ел и за несколько дней так похудел и побледнел, что кожа лица ничем не отличалась цветом от серо-седой бороды. Если же без аппетита, просто по привычке, наедался, то к сердцу подваливала тошнота, холодная, непереносная, будто там ворочалась гадкая змея. Когда же наступила темнота, его охватывало

угнетенное состояние. В это время ему хотелось умереть и он мысленным взором окидывал двор, выбирал место, где удобнее повеситься.

— Это пройдет... забудется... сотрется,—убеждал он себя,— вот скоро, скоро придет Павлуша и так ли весело проживем. Свадьба будет. На молодых погляжу и сердце затрепыхается от счастья. Уж с Ефим Лукьянычем и напьемся на радостях, спляшем по-стариковски. Что я, что я, господи, прости мое великое согрешение: в великие дни и такие у меня грешные мысли.—Он не без зависти смотрел на хозяина: — Ему хоть бы что... Как бы даже бодрее, да ядренее стал. Или, может быть, это у меня от дум горьких глаза неправильно показывают. Как подумать хорошенько, поймешь его устой. Как у тебя хотят отобрать землю, дом и нажитков на десятки тысяч рублей, так тогда тигрой станешь. Только на самом деле он, как осенний толстокоренный боровик, а я осенним листочком пожелтел... А вот на празднике,—подтягивал он себя,—и моя душа воскреснет». И казалось почему-то что он телом значительно поправится и сознанием прояснится, успокоится, как только наденет белую рубашку с черными крапинками и почувствует наступающий праздник. Но до пасхи оставалось несколько дней и самое тяжелое—несколько ночей.

Истошив чугунную печку, Евлан бессильно сваливался на топчан; от усталости и истощения он забывался быстро, но настоящий сон не приходил, наступало какое-то муторное забытьё; не было ощущения времени, действительности, но сознание бодрствовало и подсказывало, что есть какая-то тяжесть, тошнота, страх. Предсмертные слова Петунина врезались в мозг с необыкновенной четкостью, и огонек совести и раскаяния почти периодически освещал их.

В одном из углов (всегда в разных) раздавался удивленный шопот:

— Дядя Евлан, как это ты...

Потом появлялась рука, она удлинялась, толстела, пересекала всю людскую и подносила к его лицу письмо.

Евлан вскакивал и дрожал. Оставаться в комнате одному было страшно, каждую ночь собирался пойти вверх и попроситься у хозяина спать в его комнату, но несмелость останавливала его и он укладывался на топчан, наваливал на себя одеяло, шубу и всю одежду, какая у него была, оставлял щелочку для дыхания и старался заснуть, но, несмотря на это, кошмар до утра повторялся еще несколько раз.

\* \* \*

Павел давно уже стоит у окна вагона с мыслью, казалось бы нелепой, но в то же время и не лишней—не пропустить бы свой полустанок. Ведь поезд здесь встанет и через минуту уж свистит и трогается.

Наконец, мелькнули слова на бревенчатом здании «Спень». Павел схватил сундучек и ринулся к выходу. Поезд небрежно обошелся с полустанком, прошел так далеко, что напротив здания полустанка стоял последний багажный вагон. Навстречу Павлу к вагонам бежали немногие пассажиры, один дядя стукнулся коленкой о его сундучок и громко выругался.

Павел перешагнул через проволоку семафора и остановился на обтаявшей лужайке, опустив на земь сундучок. На тесовом перроне гуляли нарядные сельские девушки и парни.

— Сегодня разве праздник какой? — спросил он заглядевшуюся на него девушку.

Она спохватилась и по-озорному ответила:

— Ты, небось, с неба свалился. Пасха идет... Вот чудак... Сегодня пятница. Будто не знает... тоже спрашивает. Хи-и-грый!

— Честное слово, не знал. Ехал—езде работают.

— Ну, пусть работают, а мы погуляем.

«Вострая девчонка», подумал Павел, провожая ее взглядом.

Паровоз гукнул и потащил за собой свою угрюмую, послушную семью вагонов.

Павел к удивлению своему ощутил непредвиденную, режущую тоску и раздражение. После боевой службы, учебы, споров, людных вокзалов, шумных, беспокойных поездов вдруг полустанок «Спень», глушь, тишина. С отходом поезда будто что-то обрывается в душе. Поезд ушел. Начинается другая глава жизни.

— Полустанок «Спень», река «Спень», — старается Павел вслушаться в названия родных мест, зазвучавших для него сейчас по новому, странно, незнакомо. Что это — от слова пеня или от слова пение... Вероятно и то и другое в одном слове, потому что все лес, а в лесу много и пней и птичьего пения. Деревня Гудеж. Лес зимой вокруг деревни гудит мрачно, неустанно. Село Озарово. Хорошо. На высоком солнечном месте стоит. Потому верно и Озарово.

За горбатым полем виднелось Озарово, село с сельсоветом, почтой и избой-читальней. Компания молодежи, гулявшая на перроне, потянулась к селу.

В лесу и в овражках еще лежал снег забытыми полотнищами, по сторонам булькали усталые ручьи.

«Не может никак раздыхаться, — мысленно усмехнулся Павел по адресу весны: со снегом еще не управилась». Четыре дня тому назад ехал по Северно-Кавказскому краю, так там пахота в разгаре. Шестьдесят процентов края коллективизировано. Колхозы к Первомайскому празднику заканчивали сев. Из окна вагона видел несколько тракторных колонн. Они ползли, развевая красные знамена. После них к черному полотнищу поля прибавлялась еще черная полоса.

На Украине сев тоже начался. По увалам полей ходили то трактора, то бычьи колонны, виднелись низкие белесые села, а надо всем этим огромное голубое весеннее небо и солнце щедрое, работающее. А у нас будут заморозки, несколько раз пойдет снег и только недели через три мужики потянутся в поле, а до этого уйдут на сплав, будут ловить рыбу на Спени и ходить на охоту. Как-то живут ребята? Петунин изредка писал письма, но последние месяцы от него не было ни строчки. За два дня до отъезда получил письмо от отца, в котором после надоевших поклонов и благословений сообщалось, что в селе нынче невесело, комсомольцы «совсем развалились», а Петунин «ушел в Могилевскую губернию». Письмо на этот раз почему-то написано Софья и написано оно путано, непонятно, коротко. В конце письма была приписка лично от нее. «Без тебя в деревне скучно, приезжай к самой весне. Скоро по реке расцветут черемухи, запоют соловьи, посмотришь на деревню, а она как в саду стоит, как хорошо тогда будет погулять за рекой и на лодочке».

Видно совсем залежалась и заскучала девка,—заклучил Павел, прочитав тогда письмо. Радости и волнения от этого ласкового намека не было и только тронулась чувственность.

— Чудачка,—мысленно отвечал ей Павел,—неужели ты ничего не читала и, сидя в глуши, не знаешь о разных классовых путях людей.

С такими думами Павел незаметно дошел до Старцеванереезда и свернул на проселочную дорогу к Гудежу. Выйдя за перелесок, где начинались гудежские поля, выбрал местечко посуше и сел на сундучок покурить. Осенней паутинкой летел дым от папирсы в поле. В голове ворочались привычные, заученные мысли-мечты:— В поле работают колхозные бригады,—плугарей, бороновальщиков, сеяльщиков.— Но мысль забегает дальше:— Вот, в стороне, на целине гудит тракторок... А на тракторе он—Павел Дудкин, трактор гудит ровно и целый день режет на сырые ремни целину. И так изо дня в день, с утра до вечера. Не зря же пройдены Павлом тракторные курсы. Трактор становится любимцем и вдохновителем колхоза. Его изучают Катин, Оська Мура, Мишка Ласточкин, Типка Летчик и даже старый любопытный Паперсток. В медвяновском доме совет колхоза, клуб, в его саду, что за двором, детская площадка... Все это очень хорошо, все это уж сделано, а время идет, энергия и инициатива колхоза нарастают, средства скапливаются и вот уже на Спени шипит электростанция, неподалеку пускает короткие дымки мучной пыли механическая мельница. Вечером кузнечиком в сухой июльский день будет стрекотать кино-аппарат...

Папирса догорела, по потной спине ходит холодок. Красноармеец очнулся, встал, зеленый сундучок вспорхнул за плечо и заколыхался над серой однообразностью полей.

Миновав мятное поле, он вошел в старую березовую рощу. Рядом с ней давным-давно стоял дом мелкопоместного барина. Павел чуть-чуть помнит как горел этот дом,—барин разорился. Часть земли у него купили мужики, другую часть и весь барский лес купил когда-то его крепостной Медвянов.

От рощи он сделал небольшой крюк, чтобы сначала попасть в Пеньки, посмотреть свой домишко, повидать соседей, а потом уж идти к отцу. Пеньки встретили его безлюдьем и тишиной. Красноармеец подошел к своему дому. Окна были забиты досками. На углу висела вывеска, изготовленная и вывешенная самим Павлом года четыре тому назад. Дожди смыли с железа краску, но, все-таки, и теперь можно было прочитать: «Сапожник П. Е. Дудкин. Починка обуви». На одной стороне нарисован сапог, на другой—рука с вытянутым пальцем показывала калитку. Кирпичная труба на крыше сверху раскрошилась и из нее выглядывали прутья и сено,—вероятно галки устроили в трубе гнездо.

«Почему-то отец не починил избенку,—с огорчением удивился Павел; — а ведь нарочно просил я его в письме. Может быть, нездоровится старику. Починку большую избе надо,—заключил он,—печка, поди, совсем негодится».

С реки доносился стук, крик, смех, и Павел повернул туда.

По реке плыли бревна, дрова с лесных верховьев реки. На берегу мужики чинили старую лодку, на костре в чугуне Тишка Летчик кипятил смолу.

— Гляди-ка, братцы, Павлуха,—сказал Иван Матушкин. Мужики приостановили работу. Павел скинул с плеч сундучок и поздоровался со всеми за руку.

— Где служил?—насулленно спросил Василий Мурлыкин.

— На персидской границе.

— Ну как там с продовольствием?—засмеялся Софрон Дочкин, — белого, поди, тоже нет?

— Напротив, там все белый, — ответил Павел.

— Там один белый, а у нас один черный—обменку бы как произвести... Не знаю, как другим, а мне что-то часто белый хлеб на ум приходит. Старикам надо бы выдавать фунтиков по десяти.

— Года через два и белый везде будет. Колхозы работают. Наешься еще и белого до-сыта,—успокоил его Павел.

— А Персия на нас не нарывается?—справился Наперсток, принимаясь за работу.

— Нет... Совсем не думает нападать. Там спокойно, только контрабандистов много.

— А это что—зверье что ли какое?—спросили сразу два голоса. Павел объяснил. Мужики подобострастно качали головами и говорили:

— Вишь ты.

— Наверно, очень богатые.

— Такая работа не мила—всегда под страхом смерти.

— Там народ отчаянный... Я про них читал.

— И пули не боятся, не как мы.

— И сам он зарежет дважды-два.

Мужики придирчиво осмотрели Павла и нашли большую перемену в нем. Помнили его озорником. Но настоянно Петунина его исключили из ячейки, но только это исключение отменил волком. Был он черняв, бледен и худ, а сейчас вот стоял перед ними будто другой Дудкин: рослый, сильный детина, говорил обдуманно, степенно и с первого впечатления выделялся в нем здоровый рассудок и мужество. Летчик подметил эту мысль и сказал тоном старшего, закаленного человека:

— Воспитали, говоришь?

— Как полагается,—медленно ответил Дудкин.

— И дорастили, говоришь?!

— Да, на здоровье не жалуюсь.

— Чего жаловаться... Благодарить, по-моему, надо. Поехал скелет напротив теперешнего. Что плечи, что рост—дальше не надо, хватит. Нагружать тебя будем смело. Из комсомола-то, конечно, не вышел?

— Кандидат партии.

Летчик даже смутился и заговорил мягче, с улыбочкой.

— Ого. Значит, поработаем.

— А где же молодежь? Почему никого не видно?—спохватился Дудкин.

Летчик услужливо ответил:

— Вторую неделю на сплаве—все ребята из ячейки мобилизованы. А я, конечно, как инвалид авиации, дома,—добавил он с горькой усмешкой,—досматриваю за ремонтом флота. Вон к тебе отец катит,—кивнул он головой в сторону деревни.

Седой, суховатый отец бежал с горы в белой новой рубашке, в обтрепанной шапке ушанке. Его старость и эта сердечная торопливость вызвали в душе Павла прилив теплой жалости и умиления. Он схватил сундучок и быстро зашагал к нему навстречу. Старик обнял его и прослезился.

— Ну ладно, ладно... хватит,—успокаивал его Павел.

Отец смахнул рукавом слезы и выхватил из рук сына сундучок.

— Да я сам донесу,—дай сюда,—шутливо приказал сын.

— Ты устал... не близко ведь.

Так и пошли, вырывая друг у друга зеленый сундучок.

\* \* \*

Здороваться с приехавшими выходил Ефим Лукьяныч, немного подвыпивший, по-праздничному одетый в шерстяную синюю толстовку, в черные суконные штаны, заправленные в сапоги. С достоинством он подал руку, потом похлопал по плечу, чуть-чуть дотрагиваясь до шинели, будто боясь ее:



— Отмаялся... Долго же тебя мычкарили.

— На пограничной службе полгода лишку,—сухо ответил Павел и потоптался, не зная куда двигаться. Медвянов понял его смущение и показал рукой внутрь дома:

— Пожалуста, пожалуста... Проходи... Союшка там сейчас стол соберет.

Павел прошел в людскую и сел на скамейку около чугунной печки.

«Что-то очень добры... Отчего бы это? Бывало, когда еще маленький в батрачатах жил, так наверх взглянуть и то не пускали... Может, подыгрываются ко мне с той целью, чтобы я в будущем их не трогал,—заобрить думают».

Отец ставил на кухне самовар, куда-то все бегал, потом потащил самовар вверх. Минут через двадцать он вернулся и проговорил необыкновенно заботливо:

— Наш, раздевайся, да пойдем вверх чай пить. Софья Ефимовна все приготовила и дожидается.

За время ожидания у Павла накопилось недовольство отцом. Он, повернувшись к нему спиной, нехотя стал снимать шинель и хмуро сирсил:

— Почему ты, отец, свою избу не починил? Я ведь нарочно просил тебя в письме.

— Изба, Павлуша, вся развалилась... Да и она нам, можно сказать, совсем ни к чему,—затянул старик:— не стоит шкурка выделки. Слава богу, у нас не семеро по лавкам—найдем, где жить... Далась ему изба. Нашей-то избе пятьдесят годов. Ее только и есть, что на обжиг продать. Одну печку починить стоит рублей двадцать. Я ведь тоже в жизни соображаю не хуже тебя. Пятьдесят восемь годов прожил—кое-что знаю.

Павел сердито засопел:

— Я тебя, старик, не понимаю.

Отец довольно захихикал:

— Понимать-то еще нечего. Как раскусишь—ой, как понравится. Пойдем, пойдем! Хватит тут прохлаждаться-то. Софья Ефимовна, поди, уже ругается.

Павел поплелся за ним, взволнованно говоря на ходу:

— Чудишь ты, старик! Давно я тебя не видал, может быть, ты переменялся.

Отец, будучи в самом лучшем настроении, не слушал его и вошел в лестницу легко, как молодой, на четыре прищупка опередив Павла. У двери Павел инстинктивно поправил ремень, ворот гимнастерки, внутренне насторожился и вошел в комнату.

Софья стояла у стола в розовой батистовой кофточке, в короткой черной шерстяной юбке и дожидалась прихода гостя.

Увидев Павла, она вспыхнула и протянула руку:

— С приездом. Садитесь, пожалуйста, без стеснения.

«Девочка на большой палец»—сказал себе Павел фразу, заимствованную у командира роты.

Помолчали, пока она разливала чай, а отец водку в рюмки. Павел оглядел стол: ветчина, пасха, куличи, яйца, рыба, огурцы, капуста, пироги, пряженчики, карамель, варенье, хрен,—на широком столе ни одного пустого места.

Софья расставила чашки и сидела, рассматривая его.

Софья думала в это время:

«Бедный... Он поражен, а какой еще это стол. Фи-и...».

Вслух же сказала:

— Вероятно, доволен, что вернулся?

— Не особо. У меня не плохо прошли эти годы. Зачастую было очень весело.

— Легко этому верю,—протяжно и с чувством сказала она. — Против нашего глухого, тихого места в любой стороне государства, не говоря уже про за-границу, гораздо веселее и интереснее. У нас и скучно и безлюдно, выйти можно в лес и на реку, а погулять, поговорить не с кем. Единственная моя отрада—хожу нередко к учительницам в Чувиль, да ведь далеко, каждый день не находишься. Не зря уж Колька Петунин под поезд бросился.

Павел откинулся на спинку стула и вскрикнул:

— Как?... По какой причине бросился?

Отец выпил рюмку водки, крикнул, помотал головой и поднес к носу кусок ржаного хлеба.

Софья пожала плечами:

— Кто его знает?! Вероятно, от скуки и от «хороших» мыслей... Но в деревне говорят—из-за нашей Павлы. Влюбился в нее, но не получил взаимности—она не хотела уходить из секты.

— Ах, дурак, ах, кислятина!—ахал Павел.—Из-за такого пустяка бросать жизнь—это же чорт знает что такое. Позор!

— Ну, знаете, называть любовь пустяком! Это, по-моему, неумно,—горячо возразила Софья. — Любовь не игрушка, с ней шутки плохи. Вот вам хороший пример с Петуниным. А таких случаев тысячи. Травятся и бросаются под поезд все из-за любви.

Павел стукнул пальцем по краю стола.

— Так поступают только малодушные интеллигенты.

— Паша, выпей, выпей,—приставал отец. — Лучше тогда разговор пойдет.

Чтобы не быть этим людям чем-то обязанным, Павел старался пить и есть, как можно меньше.

Вошел Ефим Лукьяныч с графином земляничной настойки. Он вынул из графина стеклянную затычку, обвитую снизу тряпкой и поднял графин над столом:

— Чувствуете?—спросил он всех, потянув носом.— Пахнет, как в Петров день на земляничной полянке. Давай, Павел

Евламиевич, выйдем с приездом, за старое, да за новое, да за два года вперед... Ха-ха-ха. Как бы нас не заставляли горевать, так мы бы горе и на глаза не пустили. Мы веселые и горе в три шеи всегда гоним. Так ли Фомич? Давай сюда рюмку. Пей, Евлаша, радость наша. Соня, я уж и тебе налью землянички... Разреш!

«А-а, чорт,—какой обходительный,—мелькнуло у Павла. — Отчего бы это? В батраки что ли на пару с отцом меня хочет приспособить?! Ну это случится тогда, когда наша лесная Спесь пересохнет... Ну, давай твою земляничку! Попробуем, что за земляничка! Нас, брат, земляничкой не задобрить...»

— А ну, еще по одной,—подгонял хозяин. — Вот грибками, Павел Евламич... Сонишкиной засолки грибки... Она по книжке готовит и соленья и даже праздничные кушанья. Я ей руководство купил, в нем три тысячи советов...

— Да ладно тебе, папа! Что ты разошелся.

— Павел Евламич, а как цены на все там в Персии и Армении? Ты наших цен, конечно, не знаешь, так потом разницу между ними я тебе скажу.

Павел сообщил цены. Ефим Лукьяныч удивлялся дешевизне, хищническим блеском у него загорелись глаза и он запальчиво спрашивал—сколько стоит дорога, сколько дней ехать, нет ли каких препятствий провозу и, рассудив окончательно, искренне огорчался:

— Далеко... несподручно...

Евлан поддакивал хозяину, поддакивал Софье, сыну, ввертывал услужливые соображения и весь ликовал, радовался, что всем так весело и происходит такой замечательный, умный разговор.

Павел увлекся воспоминаниями, до поздней ночи рассказывал о бытѣ закавказских народов, их обычаях, жизни и ярких происшествиях на службе.

— Ведь и у нас, если человек с умом, хорошо можно прожить,—восклицает Ефим Лукьяныч.

— С умом здесь такую ли жизнь можно наладить!..—согласился Павел.— Ум всего дороже.

— Вот, вот,—кричит хозяин,—с умом у нас можно озолотиться.

— Правильно,—стучает Павел кулаком по столу.— Если по наукам наладить...

Но тут не место говорить о своих планах, и он смолкает.

\* \* \*

На другой день утром Павел проснулся поздно. Отца уже не было—ушел задавать корм скоту. Он по-армейски быстро собрался и не больше минуты раздумывал; хотелось уйти отсюда, не встречаться ни с Софьей, ни с Ефимом Лукьянычем и не продолжать больше с ними вчерашней дружбы.

Его потянуло к Тишке Летчику и он решительно направился туда, но по дороге встретил Ерофея Лобуду, который шел на реку удить рыбу.

— Ты не ходи к нему,—отсоветовал Ерофей.— Он сам на реку скоро приковыляет. Ежели ты хочешь попить чайку у него, так опять не стоит идти... Отец ему самому сахару и хлеба не дает. Ты, говорит, однонога птица, и так проживешь. Не сеешь, говорит, не жнешь, как и полагается птице, а ешь, говорит, больше моего. Вот до чего издевательство! Пушай, гыт, тебя кормят коммунисты, раз они тебе так любы. Тишка от самой ростепели почти одной рыбой питается, не хочет отцу кланяться из-за кормежки. О! У него отец свирепый, бессердечный—все равно, что животный мир. Плохо Тишке!

— Я чай совсем не имел в виду. Я и у отца могу чаю-то напиться... Мне о делах надо с ним поговорить.

— Отец в чужих людях живет. Батрацкий чай не лучше тишкиного. А у меня два вашлепа жарятся—вчера ушиб, да рыбки к ним подловим—вот у нас и бал будет по случаю встречи.

Ерофей повел его куда-то далеко за деревню. Долго шли залитым лугом—сапогов еле хватало. Наконец, дошли. Закидывать удочки, оказывается, надо было, сидя на пряслах огорода. Павел покаялся, что пошел.

— У меня полны сапоги воды.—сообщил он недовольно Ерофею.

— У тебя, они наверно крепкие... Это нет хуже. У меня они проточные, так что вода входит и выходит и завсегда сухо.

— Какая тут, Ерофей, к чорлу, река... Река-та, вон, где...

— А ты закидывай, да держи крепче, а то рыба тебя стащит с трона. Тут рукавчик, рыба голодная, на дермо пойдет... Я уж животный мир знаю хорошо. Я третьего дня в одной канавке руками с полудна набрал. Тишка у меня проходит курсы, только у него слабо дело идет, потому что он плохо животный мир знает.

И на самом деле рыба клевала отчаянно. Трудно было, сидя на шатком прясле, тащить крупную рыбу и быстро и ловко схватывать ее. Ерофей проделывал эту работу умело и точно, а у Павла рыба то и дело шлепалась опять в воду. Выгулялось солнце, стало тепло и весело, и Ерофей уж казался Павлу таким милым и интересным человечком и не обидна даже была его ругань. Ерофей вздрагивал, когда рыба шлепалась обратно в воду, и от сожаления ругался:

— Эх, ты, двуногая ротозея! Небось, животный мир чорта два бы выпустил, что ему на лапу попалось.

С бугра кричал им Тишка Летчик.

В ответ Ерофей заорал:

— Пльви сюда, заканчивай курсы.

— Не ори, рыбу разгонишь,—остановил его Павел.

— В полую воду рыба дурная... ей это ни к чему.

Сверху во всю глотку отвечал Тишка:

— С тобой, чортом, ревматизма хватишь. Павел, иди сюда, а то с ним утонешь.

Летчик сел на бугор.

— Конечно, с тобой не утонешь,—кричал Ерофей,—раз ты у бань ловишь. Наловишь рыбешки с палец, да и жрешь ее с костями и с головой. А туда же—«я, Ерофей, у тебя курсы буду проходить». Курсант! За весь день пинкарей бачок наловит и то радуется. — Он помолчал и потом сухо приказал Павлу:

— Иди к нему, говори о делах... только у меня червей стратил.

Дудкин выбрался на бугор и сел рядом с Летчиком, спросил: — Что ты, Тихон, какой бледный?

— С отцом разругался из-за колхоза. Четвертую неделю почти на одной рыбе прохлаждаюсь. Мать к вечеру, глядишь, кусочек сунет, да мало. А больше не может—отец учет делает—много ли сегодня хлеба пошло.

Он погрозил в сторону деревни кулаком и заскрежетал зубами:

— Молоко-то он, зверюга, не учтет. Мама-то меня любит. А он все мечтает, что я с голоду околею. Дождайся!

На Павла глянула сквозь слова Тишки жестокая, боевая действительность родной деревни.

— Тихон,—обратился он,—что это с Петуниным случилось? Никогда я не думал, чтобы он такой кисель в душе допустил!

— Не поминай ты мне про него. Я чуть с ума не сошел, думавши о его смерти. Голова начала сдавать. Больше не думаю. Загадка. В книжках доискивался. Пишут, что есть такие психо-паталогические рецидивы. И всякими такими медицинскими словами объясняют. Может, и у него какой-нибудь заворот мозгов произошел. Бросил он, можно сказать, нас на полдороге... Будто он громом нас приглушил своей-то смертью.

Дудкин напугал Летчика суровым требовательным взглядом:

— Колхоз... организацию-то колхоза что же вы после его не закончили? Бросили все!

— Как легко тебе говорится,—обиделся Тихон. — За мной мужики не идут, потому как я инвалид—«много ли, говорят, он делов подымет, мученья глядеть на него». А ребята перазвитые, неопытные, доверия у мужиков ничем не заработали. А Петунину они верили—он знающий был, до всего дохожий, смелый, душевный. Такие парни не в каждой деревне есть.

— Вот что, Тихон, колхоз надо во что бы то ни стало создать. Без колхоза нам не жизнь. Наверно, сам хорошо чувствуешь. У нас есть в деревне все условия для того, чтобы создать крепкий колхоз.

— Паша, дорогой, да я всей душой...— Он стукнул кулаком по земле.— Изю всех сил рзусь, но мне инвалидство мешает. Мужики за мной робеют итти.

Этого уверения ему показалось мало. Ухватил он себя обеими руками за ворот рубашки в намерении рвануть ее:

— Па, на, возьми меня... Давай организовывать колхоз, всего себя сожгу на этом деле и ни на минуту не пожалею.

Павел тихо взял его за руки:

— Оставь, без рубашки находишься. Верю, что нутром понимаешь этот вопрос. Давай на завтра собирать собрание. Самых надежных сначала соберем. Только место удобное надо. Плохо, вот, у меня отец домшко не починил, а ведь письмо нарочно писал ему—просил старого холуя починить...

— У Ерофея Лобуды соберемся... У меня все протоколы и списки хранятся. По списку соберем.

Дудкин протянул ему руку:

— Тихон, изю всех сил будем работать... не жалея жизни... не страшась ни зареза, ни обреза...

— Пашка, Пашка,—закричал Летчик,—давай... давай заваривать гуще... Убежденья у меня через край.

Он в каком-то иступлении вырвал с прошлогодней травой клочок земли, откусил от него часть и протянул Павлу.

Дудкин в страхе отшатнулся от него:

— Что ты?.. Что с тобой? Спятид, что ли?!

— Пожуй,—сказал он, выплевывая землю.— Пожуй для клятвы.

— Ну тебя... Где это такой прием вычитал?!

Тихон в нервном приступе скривил рот, полный гизия:

— Для крепости... Чтобы не слабеть и не сдавать ячейку ни в каком разе... Ну, держись, я считаю эту клятву по гроб жизни.

— Ладно, Тихон, успокойся... Домашние неурядицы тебя, видимо, очень измотали, вон ты какой нервный...

На бугор взбирался Ерофей, и они оба встали.

\* \* \*

К вечеру возвратились комсомольцы со сплава, усталые, похуевшие. Тишка Летчик, избранный после смерти Петунина секретарем ячейки, оглядел их подозрительным взглядом и обошелся с ними строго.

— Кажи характеристику... хорошо ли на сплаве работали.

— Что это тебе вздумалось?

От спокойного окрика Катина и его усталого, запавшего в глазницы зора Летчик осел и стал сдавать:

— Может, вы дезертировали. Что-то по моим расчетам больно рано вернулись.

Ребята обидчиво закричали вокруг него.

— Рано... две недели там холодали.

— Это ведь не дом отдыха.

— Поработал бы сам, тараканья нога.

— Нам досталось по перво число, а он еще придирается.

— Не бойсь, инвалид,—Катин хлопнул его по плечу,—сами не хуже тебя сознательны... Самовольно бы не ушли. Вот через недельку,—барки привезут, пойдем дрова грузить.

Все досужее население—на реке; удили рыбу, катались на лодке, жгли теплинки.

Оська Мура, вернувшийся со сплава, поскрипывает на гармошке и пристает к обступившим вернувшимся девчатам.

— Ненаглядные... писанные мои, как я по вам соскучился... Сколько слез пролил, сколько ночей не спал.

— А нам, Ося, без тебя и свет был не мил,—хотели девки.

— По ночам ты все снился. Утром выйдут девки; одна говорит, мне Ося Мура снился, а другая отвечает—и мне Ося снился.

— Нам без тебя жизнь, как скошенный луг.

— Ой ли?! Правда ли, девчата, говорят, что я вам сниюсь всегда в нагом виде?

По реке раскатывается залежавшийся густой девичий смех.

— Правда, правда, Ося...

— Чиста правда. Без единой тряпочки снишься.

— Ладен ли собой—то показываю?

— Уж так ли статен, да хорош.

— А вот Матрене снился с хвостом и в шерсти.

— Эт-то она обозналась... не разобрала... Эт-то ей небо с овчинку показалось.

— Ох-хо-хи-хи-ха-ха...

— Врут они, Осиц, врут!

— Ося, а где гармошку достал?

— По случаю.

— Вот теперь будет веселее—в деревне две гармони.

— Этот вопрос будет стоять на ячейке,—громко и раздраженно говорит Катин,—он на сплаве ее в карты выиграл.

— Это недостойно,—вмешивается Летчик.

— Нет, я, все-таки, дознаюсь, как вы там работали.

— Да-а... В картишки подвезло, мне завсегда в карты везет,—смирненно рассказывает Оська.—Что же делать—выговорчик придется получить.

— А может, и выключат,—смело звякает Лидка Румянцева.

— Насчет выключить—то мое происхождение им дулю покажет. Да и у меня самого шесть лет пастушеского стажа. Для вот через три сгоняться надо. Скоро девоньки коров будете ходить доить—в кустах там на досуге обо всем поговорим.

— Платишь Лукерье алименты, так еще охота налететь,—враз раздалась несколько девичьих голосов.

— Не скулите обо мне ради бога,—спел он под гармошку. Моего заработка на всех хватит—не беспокойтесь. Пынце я уж буду старшим ходить, а Колесов у меня в помощниках. Попробовать счастливую-то... Он растянул гармонь и заиграл—многие пищики скрипели, верещали, в худых мехах шипел воздух. Оська сморщился и запел:

— Девчонки беда —  
Гармошка худа!..

- Давай мы тебе ее ушьем.
- Дрянцо—гармошка.
- Чего спрашивать—ведь не сто рублей платил.
- Ежели ей ремонт, она послужит.

Надо деньги копить...  
Гармонь новую купить.

Донел в ответ Оська.

Молодежь сходилась. Веселье разрасталось. Заглушая Оськину, задела справная гармонь Лешки Курина. Он—главарь беспартийной молодежи в деревне—подшел со своей компанией. Неподалеку вместо теплинки горел большой костер, стало совсем темно и все двинулось к костру.

Девки пели хором, вскидывая взгляды на Дудкина:

— У колодца, сыро, сыро, —  
Постелю я елочку.  
Привыкай мое сердечко  
К новому миленочку.

— Кадриль... Давайте кадриль... Становись четыре пары.  
Дудкин остановил Летчика:

— Тихон, куда ты?

— Пойду молоко из печурочки к Ерофею перенесу, а то, вожака, собаки унюхают... Вылакают.

— Ну, ладно, валяй!

Дудкин метнул глазами по толпе девчат и его взгляд остановился на Павле. Он схватил ее за руки и потащил в круг. Павла покраснела и воспротивилась:

— Я не умею... не пойду.

Павел на это было обиделся, но девки подтвердили:

— Верно, верно, не умеет.

— Пойдем со мной,—сказала Лида Румянцева и они вместе заняли место.

Девки покачали головами:

— Ну и чертовка! Огонь!

Ее из ряда вон выходящая бойкость порождала на деревенского сплетен, но она на это не обращала внимания и не собиралась изменять своего поведения.

За кадрилию плясали «коробочку». Потом Павел рассказывал о «лезгинке», заставил гармонистов разучивать этот мотив, в конце-концов совсем распалился и изобразил, как ее пляшут. В это время его стукнул по плечу Костя Багля:



— Иди, за тобой отец пришел. Вон у кустика дожидается.

Сын немедленно вышел к нему.

Старик волновался, нервно переступал с ноги на ногу... Заговорил сдержанно, но расстроено:

— Павел, я думал, что ты приедешь с умом?

Сын вздрогнул:

— В чем дело, старик?

— Такой парень болтаешься тут попусту с разной мелюзгой, а Софья Ефимовна тоскует. Сидит у окошечка и в глазах у нее слезка разгуливается. Ждала, ждала она тебя, каждый день спрашивала—«когда Паша приедет», а как приехал, так вся и загорелась. Она девушка теперь во всех статьях и рвется погулять с тобой всурьез, а ты, как парнишка беспортошный, путаешься попусту.

Где-то недалеко за деревней раздается выстрел,—это Ерофей возвращается с тяги и недалеко за деревней, что бывает почти каждый день, неожиданно натывается на токующих теремов и палит.

— Какое мне дело до Софьи Ефимовны. Скучает, так ей только и дела, что скучать,—щечет сын, чтобы не привлечь к разговору внимание молодежи.

— Павел, неужели ты в таких годах ничего в этом не смыслишь?.. Какая барышня! Что ни живу, такой не привидывал. И собой взяла, и разговорчива, и одежда на ней, как на картинках. Она разумная, в годах, сердце у нее в самом мареве... Гулять с тобой охота всурьез, люб ты ей, а ты боишься. Тоже служил,—он кивнул на группу молодежи,—охота тут тебе болтаться, будто глупенький.

Павел рассердился и заговорил быстро:

— Что, ты, старик, мне все свою Софью Ефимовну подсовываешь. На что она мне?.. Ну, положим, толста, ну грудаста, ну хороша лицом, но между нами нет ничего общего, мы с ней классовые враги, нам не любиться, а бороться надо. Ты, старик, выпучил глаза, ты ничего не понимаешь. Поживешь еще немного—поймешь и увидишь, что такое классовая борьба... вообще многое поймешь.—Он махнул на отца рукой и пошел к молодежи, большой, ладный и уверенный в своей правоте. Старик отвернулся к кусту и от неудачи, отупения заревел. Кто-то услышал его плач и подошел к нему. Старик загордился от подошедшего лицо широким рукавом ватной тужурки, двинулся от него прочь, но не подумал о направлении и упал в кусты.

Его подняли две девицы:

— Размаряшило тебя, дядя Евлан. Дойдешь ли? А то доведем,—говорили они, думая, что он пьяный.

Старик ничего не ответил и тяжело поплелся к деревне.

\* \* \*

Прошли два дня. Павел прожил их у Ерофея Лобуды. Первый день они с Тишкой ходили по домам и толковали о колхозе, звали на собрание. Тишка носил с собой книжку и выдержками из нее «о паталогических рецидивах наследственности» доказывал, что не трудности организации колхоза сломили Петунина, а какая-то душевная болезнь, коренившаяся в их роду. Теперь есть другой руководитель, который, будучи военным, не пугается никаких трудностей, и не бросит колхоз ни в каком разе.

Дудкин спокойно и подробно рисовал все стадии организации колхоза, его будничную работу, управление им, возможные беспредельные достижения его. Мужики чесали в бо-  
роде, в затылке и уклончиво говорили:

— До собрания подумаем, а там выяснится.

— На словах-то очень ясно выходит, а на деле может и затрется... Словами-то гору можно своротить, а поди-ка плечем-то ее возьми.

— И Петунин точь-в-точь так же говорил. Об этом мы наслыханы.

На другой день осматривали избенку Дудкина, сбивали с окон тес, а к вечеру заразились беззаботностью Ерофея и ударились с ним в лес на тягу. Павел прихватил шомполку у Матушкина и убил в притоке Спени утку, замеченную Летчиком. Тишка этой удаче крайне обрадовался и весь вечер шутил и хохотал. По дороге домой он несколько раз говорил:

— Какая целебная природа! Ну, будто у меня все нервы на старое место сели.

\* \* \*

Собирались на собрание в избу Ерофея Лобуды. Ерофей сидел посредине лавки у передней стены и говорил всем усмешливо, беззаботно:

— Присаживайтесь, у меня хорошо, прохладно, нет ничего—и ладно, воздух свежий, тараканы те же, печка три дня не топлена, рыба в подтопке жарена, а дичь вагонами в Москву отправляю, иду бульвартера с тройным щетом, одного управа не берет.

— Цыплят в печурке пора выводить,—засмеялась Лида Румянцева.

— Сама скорее моего не выведи цыпленочка, который сию обожает.

— Это мы можем,—ответила смело девка, завидно раз-  
румянившись.

— За нами дело не встанет!

— Разве тебя укусишь, вон ты какая плотная—не про-  
хватить.

— Правда, Ерофей, есть чем послужить советской республике. Таких ли орлов наносим,—не чета вам.

Девки хохотали и поддразнивали Ерофея.

Дудкин сидел за столом, взглядывая в собравшихся мужиков и думал вдохновенно:

«Дорогие мои... темные, робкие... отчаянные... сердечные... жестокие—вы будете спаяны одними целями, одними заботами, сотни глаз будут следить за поведением и работой каждого. Через год, через два вы не узнаете себя и друг друга, как я сейчас не узнаю в себе того, кем я был до армии. В прошлом, до службы был совсем другой Павел—жалкий, невежественный.

«Мужички, вы будете колхозниками. Звание колхозника надо носить бережно и гордо. Колхозник переделает весь крестьянский мир, на его плечах лежит задание построить социализм в поле.

«Тебя, Василий Мурлыкин, придется выбрать в совет колхоза. Ты будешь хорошим, справедливым, настойчивым работником. В каком-то застывшем, безысходном горе зародили тебя, Мурлыкин, мать с отцом. Твое вечно угрюмое лицо не знает улыбки, как пустыня реки. Интересно бы спросить твою жену, тетку Арину, улыбался ли ты ей хоть раз в жизни. Правда, улыбаться тебе не с чего. Твой жизненный путь пролегал по неудачам и несчастьям. Женили тебя на нелюбимой, а после свадьбы по каким-то причинам ты еще больше охладил к жене. Потом привыкли друг к другу, и потянулась серая, незаряемая огнями любви, жизнь.

«А тебя, Иван Матушкин, надо поставить заведующим конным двором. Может быть, твой род, получивший начало от связи славянки с татаринцом, от времен татарского ига в своей крови несет эту удивительную для нашей деревни любовь к лошади. Жена и дети не знают того ухода, внимания и забот, какими ты окружаешь лошадь. Ты должен перенести теперь свою страсть к лошади на общественный конный двор. Как ты широко можешь развернуться! Откорми и облагородь забитых крестьянских лошадей, разведи стадо молодняка...

«Ты, Наперсток, будешь заведывать машинной станцией. В твоём ведении будут машины и орудия со двора твоего соседа, твоего врага—Медвянова. Как много лет ты злобствовал на него и воевал с ним в мелочах. На его курицу, забравшуюся в твой огород, ты бросался с колом и так искусно им орудовал, что курица, все-таки, живой попадала на свой двор. На медвяновскую лошадь, забредшую на твоё гумно, ты бросался с коленом. На ругань Медвянова отвечал вихрем матерщины и угроз, на озорных батраков десятки раз подавал в суд. Свою ненависть к кулацкому гнезду, после его ликвидации, тебе, Наперсток, надо переключить на нерях, ротозеев, плохо обращающихся с машинами. Да! Ты маленький, энергичный, грамотный, толковый—будешь вестись машинами!

«А вот и он, Матвей Пушкин, никакого родства не имеющий с гениальным поэтом—однофамильцем, рыжий здоровяк и женолюб, словно потомок красного весеннего бога Ярилы. Ты, Матвей, будешь руководить строительством и ремонтом в колхозе. Ты, рыжий увалень, хранишь в потаенных местах души своей редкостные способности. Они временами непроизвольно прорываются у тебя в творчество и ты поражаешь деревню неожиданным умением владеть каким-нибудь мастерством. Одно время ты, ни месяца не учившись нигде столярному ремеслу, вдруг начал делать горки—легкие шкафы для крестьянских горниц. — Где ты выучился?—удивлялись мужики. — В Чувиле у столяра выглядел и самому что-то захотелось сделать. И ты за бесенок наделал горок для всей деревни. Побывав в плену в Германии, нашел, что тамошняя печь в некоторых отношениях удобнее русской и переложил у себя в избе печь на германский манер просто по памяти.

«Лидка Румянцева, бес в юбке, чорт толстозадый, харя хорошенькая, полыхающая румянцем, я, кажется, начинаю тебя любить. В тебе столько энергии и силы, что, кажется, можно обжечься о тебя, а смелости... ты можешь себе выбрать парня по сердцу и жениться на нем. Ты должна организовать гудожеских баб в мощный, деловой коллектив, с ними создать ясли, детскую площадку, ты будешь защитником их прав, бригадиром... ты принесешь мне сорванца, мы будем...»

— Что? Пора, говорите, начинать собрание?.. Как я раздумался!

Павел приосанивается, окидывает всех приветливым взглядом:

— Говорите, все собрались, дожидаться больше некого? Хорошо. Начнем. Выберите председателя и секретаря. Что? Дудкина?.. Секретарем Тихона Леччика? Товарищи, у него, как и у всех, есть своя фамилия. Его фамилия Шмелев, к вашему сведению. Так его секретарем, он уж, говорите, постоянный?.. Товарищ Шмелев, садитесь и пишите протокол. Записывайте подробнее, потому что это собрание огромной важности... Товарищи, первое слово я возьму себе и расскажу про сегодняшнюю политику партии в деревне.

Он заговорил о прозябании деревни, о застое единоличного сельского хозяйства, о тунике середняка—единоличника, о положении бедноты, стиснутой нищетой, из которой невозможен выход поодиночке.

— Эту песню мы слышали,—вставил беспокойно Баглатец. — Ее Петунии нам сколько раз пел... Тогда же замахнулись было Медвянова столкнуть, а ему хоть бы что—сидит себе по старому в своих хоромах, да посмеивается. Промежду прочим, бабы пронюхали слухок, что Медвянов хочет дочку свою определить... Павла Дудкина в дом берет. Вот тут и смекай, чем пахнет. Вышибут нас из своего-то крестьянства,

передеремся между собой, а в середине-то лета и пойдешь к Медвянову работать... Видать, этот молодец так и налаживает скрутить нас покрепче, чем Ефим Лукьяныч крутил.

Софрон Дочкин высоко, многозначительно свистнул:

— Вот это да! Ухваточка!

Лидка Румянцева побледнела и хмыкнула:

— Ого... дело выгодное... Невеста богатая и... помягче любой из нас. Медвянов не промахнется. У него за два года вперед высчитано.

— А с нами, значит, играют «в дурака»... Так, так, молодец... Во-на чему выучился. В дураки нас хочешь посадить, — волновался Багря-отец.

— Пашка-а... Пашка,—хрипел с боку Тишка Летчик. Дудкин оглянулся. Летчик смотрел ему прямо в глаза требовательно и жутко, по лицу его пробежали красные пятна:— Пашка-а, так ты меня на бугре-то обманывал?! А-а-а, курва... Я теперь понял, почему ты мне клятвы не дал. Не стал землю жевать, потому что меня обманывал.

Летчик схватил его за грудь и с силой дернул к себе. На ворота гимнастерки лопнула петля и ворот широко развалился. Дудкин с силой оттолкнул его руку и закричал. Ерофей, увидев красное, взбешенное лицо Дудкина, сказал:

— Эх, какая жара!..

— Стой, Тихон! Рано еще меня за воротки брать? В чем дело!—кричал Павел.— Бабьи слухи мы здесь обсуждать не будем. Я еще не пошел в зятя к Медвянову. Вот когда пойду, тогда об этом и будете разговаривать.

— Ишь ведь какой гордый,—возмутился Василий Мурлыкин.

— Тогда уж нам, дружок, поздно будет,—крикнул Наперсток,—ты сгонишь нас в стадо, а сам к Ефиму Лукьянову... да и возьмете нас в оборот.

— Товарищи, он кандидат партии,—благоразумно заявил Катин.— Будте покойны—он никогда этого не допустит. Что вы напали? Давайте разберемся! Криком не возьмешь.

Румянцева бросила на Дудкина уничтожающий взгляд:

— Много таких кандидатов.

Софрон Дочкин, скребя висок, громко засмеялся:

— Чтой-то, братцы, у нас ничего не выходит. Э-эх, на самой на мели разговоры завели. Вроде как темнеется—домой пора.

Павел резанул воздух кулаком.

— Стойте! Это про меня зря слух пустили. Извините, товарищи, что я горячусь, но только вы напрасно на меня напали. Я... я... чтобы я, красноармеец—пограничник, сын батрака... кандидат партии, пошел к кулаку в зятя, значит, сам бы стал кулаком, взвалил бы на свои плечи кулацкое хозяйство, да что вы надо мной издеваетесь, что ли? Ни за что!.. Клянусь

своей красноармейской кровью! Что вы, братцы, Медвянова мы на днях же раскулачим... В его доме будет совет колхоза, детские ясли, изба-читальня, а его самого за пределы вместе со всеми староверками. Скот, все машины, земля—в колхоз. А насчет женитьбы на его дочке—вы это бросьте. Мне его Сонюшка ни к чему.—Его горящие глаза споткнулись о лицо Лидки Румянцевой, застывшее в суровом предельном внимании, и у него невольно вырвалось: — На кой чорт мне сдалась кулацкая дочка... У нас и своих девушек довольно.

Румянцева сумела схоронить самодовольную улыбку.

Минуту, две раздумчиво молчали. Ерофей нарушил молчание:

— Вы тут доругивайтесь, а я пойду на охоту. Хотел было сегодня вечерок пропустить, да уж не стоит—жалко упускать—время-та стоит больно хорошее.

Тогда властно зазвенела речь Лидки Румянцевой:

— Что мы с бухты-барахты на человека напались... Бабы и не такую газету могут распустить. Может, у него и на уме такого не было. Он нам рассказывает, что нет и нет, а мы еще не верим.

Багтя упрямялся:

— Соловьев мы на своем веку досыта наслушались... Нам ихние трели надоели.

Оська Мура, только что вполголоса ругавшийся с Никифором Ключиковым, нападает на Багтя:

— А ты обоснуй... Соловьи не при чем. Схожести тут мало. Ты обоснуй. Присказками теперь только дурака остановишь. Говоришь, тебе «эти трели надоели», так не вступай в колхоз, мы тебя не веолим, а расшибать собранье не дозволим... Хи-и... Вишь, говорить стишком и мы можем... Не думай, что ты один такой умник.

— Нам слова-то вот,—Матушкин плюнул на пол и растер лаптем.—На хороше-то слова нас всю жизнь, как на приманку брали. Бывало на словах Ефим Медвянов—ангел, себя забыл, а о тебе заботится, а потом, глядишь, надул. Обстригал. Нас на своем веку поводили за нос, так мы уж выучены... Говоришь, ничего у тебя с Медвяновым нет?.. Хорошо. Давайте раскулачивать Медвянова—тебя передом пустим... Тогда уж и настоящий разговор заведем. Так-то у нас промаху не будет.

Наперсток выкинул вперед руку: — Поддерживаю... Поддерживаю Матушкина. — И все изумились, какая у него большая и жилистая, по сравнению со всей его комплекцией, рука.

— Тишка, у тебя список жив? Чего еще раз записываться. Мы уж все записались—давайте телегу трогать. Матушкин правильно сказал,—от слов она не поедет.

— Ишь, какой оборот произошел,—сказал Ерофей Лудкину.

— Тут, брат, держись крепче, а то выкувырнет.

Лидка Румянцева обласкала Павла одобряющим взглядом:  
— Оборот хороший!

Дудкин поднялся над столом довольный, сосредоточенный:

— Товарищи, я очень рад, что вы все хорошо понимаете и требуете дела... Конечно, согласен идти передом раскулачивать Медвянова... Давайте сейчас же начинать работу... Я предлагаю сегодня же выбрать совет колхоза и делегатов в РИК.

— Что ж?!. теперь самое время!..

— Медлить нечего—вон земля стала проветривать.

— Через недельку в поле двигаться.

— Ты, Ерофей, раз на тягу собрался, поди—не задерживайся—все-равно тебя в совет не выберем.

— Га-а... Почем ты знаешь—может, пройду.

— Ты у нас в колхозе будешь руководить охотничьим кружком,—весело метнул в него Павел.

— С нашим удовольствием... Животный мир я знаю, как свою родню.

Летчик сжимал своей горячей потной рукой руку Павла:

— Ты на меня не сердись... Я уж такой горячий.

\*  
\*  
\*

В доме Медвянова серо, мутно и тихо, как в старом пруде. Евлан похудел, ослаб, стал перепутывать корм: свиньям задаст сена, овцам—овса, потом спохватится и станет ему страшно. Примется переделывать, а мысли неотступно лезут и порождают зловещую тоску.

«Старался для него, мучился, совесть из себя выгнал, злобу в сердце заводил... человека убил... от видений чуть с ума не сошел... Все для него! А он теперь и видеть, и слушать меня не хочет. Бросает старика. А какое ведь счастье ему привалило: дом—полная чаша, хозяйство оборудовано, жена, как боярская дочь...».

Голову с непривычки долго думать ломит. И, увидев мимо проходящую Софью, он вздыхает:

— Ах, матушка моя, как повяла.

Софья скучная, замкнутая. Она теперь не заигрывает, как раньше, с Евланом, не шутит, не спрашивает про сына, встретившись, смотрит в сторону и гордо проходит мимо.

«Рассердилась,—робко шепчет про себя Евлан.— Ждала, ждала, а он вроде, как надсмеялся—не хочет знать... Ах, дурак, такую красавицу упускает... Чудно!».

На другой день утром при развеске корма к Евлану в теплушку зашел хозяин. Он грозно глянул прямо в глаза и заговорил голосом, полным превосходства и насмешки:

— Давай родиться-то! Что пошел на попятную? Я, брат, свое слово держу... Не как ты! Все отдаю. Десятки тыщ хозяйство стоит. Сорок годов наживал и в один день отдаю. На, бери! Только дочку не обижай! А у вас с сынком толку нет взять. Эх, вы!

— Вот перебесится... непонятлив,— начал объясняться батрак, но хозяин его перебил:

— По-моему, он у тебя такая же сволочь, как и Петунин. Позавчера по домам ходил с Тишкой—в колхоз мужиков загонял. Только кто ему туда пойдет. Только и есть, что рвань из Пеньков записалась, да нецутяи, голыши: Васька Мурлыкин Наперсток, Дочкин, Матушкин... Справные мужички не идут, да-с, не идут, а их половина деревни. А-а-а-а,— злорадно взревел Медвянов,—зубы об них обломаешь! Николку Петунина господь через нас прикокнул, а этого... твоего мужички пришибут... Ты, отец,—отврати его от этого гибельного заблуждения. Да уговаривай скорее, а то и я осержусь и возьму свою доброту обратно и не пушу в зятя. Невеста у меня такая—мигну и десять женихов у двора будут.

Медвянов схватил батрака за бороду и строго прошептал:

— Смотри, не проговоришь своему разбойнику про Петунина. Оба погибнем. Вместе в геюю пойдем... Знай, что и тебя вместе со мной расстреляют. Одинаково.

Кое-как управившись на дворе, Евлан пошел к сыну. Голова звенела, сердце билось часто, а пониже сердца лежала ноющая круглая боль. За двором Рундуковых валялся скелет кошки с кое-где оставшейся шерстью. Старик остановился от какого-то внутреннего неприятного толчка и почувствовал гошноту, слабость в ногах. «Пойти поесть,—быстро решил он и повернул обратно.— А то эдак-то ног таскать не будешь, да и с ним не поговоришь, как следует... А говорить надо с напо-ром... Чтобы знал отца!.. Чем он эти дни, несмысленный, кормится?.. У Лобуды, наверно, кое-чем голод заморит и ходит полуголодный... Ах, самовольщина!»

В полдень Евлан шел к сыну в Пеньки.

«Не миновать с ним ругаться,—думал он.— Дашь вот детям волю, потом спокаешься. Вот, жени его теперь!.. Брыкается дурак, счастья своего не понимает. Чать, хватит уж и наголодался, и нахолодался».

С самого выхода из дома силился обдумать, что сказать сыну, как круче взять его в оборот, какими лучше словами и голосом усмирить его, но голова гудела, все не мог собраться с мыслями, все отвлекался. Представлялась свадьба: Павел целуется с Софьей, он с Ефим Лукьянычем пляшут, а но коридору, по лестницам ползут перепившиеся сваты, поют «как по морю, морю синему», бабы и в дому и на улице. Любо. В голове от этих сладостных дум помутилось. Представился Павел важный и усталый, только-что вернувшийся с поля, и Софья какая-то величественная, с большим круглым животом выходит к нему навстречу.

На околице пели жаворонки и в воздухе, и на земле. Мягко, мечтательно дымились синеватой дымкой леса вдаль, густо синели ближние перелески.



Сморщив лицо, Евлан поглядел на солнце и не мог его найти—все небо показалось сплошным разлившимся солнцем.

А на реке весело, броско ругались бабы.

— Какая благодать,—сказал он с чувством, как говорил по этому же поводу тысячи раз в своей жизни.—Стада стогнать пора.—И тут же пришло в голову: «у Ефим Лукьяныча нынче мало живности—за зиму половину скота порешил».

Он прибавил шаг. Раздумье исчезло. Захотелось сейчас же увидеть сына, уговорить, упросить его и сделать свою и его жизнь сытой, счастливой, переполненной работой и довольством.

Он подошел к окну своей избы, и заглянул внутрь. На голом столе стоял глиняный кувшин с большим букетом желтых цветов и рядом валялся описок карандаша. Да еще у печки стояла снятая с угла вывеска. Больше ничего в избе не было.

«У, чего тут ему жить?—подумал старик.—Ах, несмышленный. Не верится ему в такое счастье... не смеет...».

И на сердце у старика стало спокойнее, яснее. Он нагнул на глаза шапку и пошел от избы дальше спросить, где Павел.

У своей избы на завалине сидел Ерофей Лобуда, одетый совсем по-летнему—босой, в худых штанах, в полинялой коричневой рубахе и в обношенном студенческом картузе.

Он читал книжку «Великий ледовый поход» и, увидев подошедшего к нему Дудкина, в возбуждении от прочитанного, махнул над книжкой рукой:

— Тальянцы полетели поглядеть на край света... и флаг на самом краю земли воткнуть. А там стужа, да их еще изморозью обдало и хлопнулось на лед. Все страны спасать их ездили. Ни у кого не хватило толку доехать. А мы... наши большевики доехали и спасли. Вот молодцы. Всем странам нос утерли... Отчаянные головы.

— Нынешним книгам верить нельзя... Одна ложь,—внушительно и гордо сказал Дудкин слова, много раз слышанные у хозяина.

— Государственная печать на книжке поставлена, голова с луком. Поди, только ваши чик-минии, да псалтыри не врут. Знаем, про что дудишь.

— Не знаешь ли, где мой солдат пропадает?—сухо спросил старик. И за это Ерофей с злорадством, четко ответил ему:

— Всей оравой с самого утра в совет ушли!

— Зачем пошли!—вздрыгнул Евлан.

— Деревню перепрягать хотят.

— Как это перепрягать?

— А вот так—ходила в одиночку, а теперь тройкой пойдет.

— Вот и поговори с тобой,—вскинулся на него Дудкин.— У худой головы пустые речи. Его серьезно спрашивают, а

он хреновину понес. Тарахтит, чорт знат что, как по огороду палкой.

— Кто бы говорил, да не ты,—старопечатная душа,—кричал ему вслед Ерофей.—Холуй кулацкий! Высох весь, прогук от своей староверской веры. У хозяина гордых слов набрался, умным себя считает, в рай метит. Большевики весь ваш рай под колхозы мужикам отдали...

Опять в душе появилась тревожная зыбкость и он поспешно направился к дому хозяина.

— Пустоболт,—подумал он про Ерофея.— Давно бы с голоду сдох со своей ленью, кабы не талан на охоту. Баба и то от него убежала. Бездетностью господь покарал пустомелю.

На мгновенье с редкой ясностью вспомнилась своя жизнь... Вспомнил сухое, неурожайное лето, белорожего подтепка, бесследно пропавшего в лесу... полумертвую, избитую за шапши с пастухом Колесовым, жену... Свидания с молодой келейницей Фаиной, холодноватым осенним вечером за ометом ржаной соломы, когда так сладко пахло яблоками и хлебным дымком овиннов... Павлушка, батрачивший у Медвянова три года с двенадцати лет... потом Павлушка в мастерской у Степана Австрийца... самодельная вывеска на углу избенки... И опять он стал думать о Павле:

«Забыл отца... до крайности довел... хошь гроб заказывай. Ноги не пинают. Заговоришь с ним—оборвет, мудреными словами весь разговор сомнет. Весь в матку—такой супротивник и упрямец. Я ему сегодня такое ли слово скажу, что он подумает, да и подумает над ним».

Он прошел к себе в людскую, вытащил из топчана сундучок, отпер его и из коробочки, сшитенной из мелких корешков, взял трешницу.

С деньгами направился он в шинок к Степану Австрийцу.

Управляясь с полубутылкой, он сообщил Степану: «ступило в ноги», «замолодилось», «зашибло», вскоре совсем раскис, бормотал и смахивал рукавом слезы.

— У Медвянова в богатстве моего полдома... Половину я заработал своим горбом. Дочь-то его в моего сына втрескалась, а Пашка слабоват еще по стекольному-то. До того девка по нем тоскует, что аж вянуть стала.

— Скажи ему об этом... Это ему интересно будет,—безразлично поддерживал разговор с пьяным Степан.

\* \* \*

В этот день Медвянов ходил по домам середняков и зажиточных. Скликал их по двое, по трое в один дом и начинал с ними разговор издалека. Сначала говорил о недостатке товаров, о предстоящих новых бедствиях и переходил на священное писание.— Святые отцы за тысячу лет предвидели это скорбное время. Пророк Еклезиаств писал про это время—«По-

мни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». — Вот вникните: сказал, как вложил, Господи, до чего верно: живешь в эти годы и никакого удовольствия в своей жизни не чувствуешь. Одним мучением и страхом переполнена наша жизнь. Какое тут удовольствие. Вот ежели мы побогаче и поспособнее живем, так того и гляди раздавят и всего лишат. Святые отцы предвидели наше положение. Сирах знал, что мы будем переживать эти проклятые дни и писал нам: «Пещитесь об имени своем», то-есть, значит, заботьтесь, не поддавайтесь им.

Медвянов говорил, как староверский проповедник, то внятно и твердо, то задушевно, до шопота понизив голос, то плаксиво, то еще грозя и проклиная. Он рисовал организацию колхоза, как великое бедствие, предлагал не допускать этого, всем вместе подействовать на бедных, записавшихся в колхоз, пояснить, какое это будет безобразие, разврат и бедность.

Осторожный Рундуков махнул рукой:

— Их не приостановишь, раз им власть помогает, нынче разобьешь, так на тот год соберутся.

— Вот мы и страдаем из-за того, что защитить самих себя не можем, соединиться не можем... Пусть, что хошь делают, аж бы меня не трогали, а как до самого доберутся, так, глядишь, и завыл, и запрыгал. Вот меня теперь до последней рубашки ограбить хотят. В моем доме мне комиатки ни одной не оставят, а ведь у меня дочь, ей замуж надо идти, приданое требуется. Вы сами зажиточные, башковатые мужики должны защитить меня от этих грабителей. Наживал, изворачивался, суетился всю жизнь—и вдруг всего лишат. У самих, у вас большие хозяйства и чувствуете, наверно, как это прискорбно. Вот и оградите меня от этих чудовищ своим обществом справных.

Иннокентий Пузырев крикнул, насунув брови, предложил:

— Застоять надо человека. Все мы дышать желаем и ему охота. Наживал он это богатство не для них.

— Воспрепятствовать должны мы, а то их навадишь и до нас доберутся,—согласился с этим и Рундуков. Одноглазый, крепкий середняк Полозов горестно покачивал головой:

— День и ночь надо их отговаривать от этой большевистской затеи. День и ночь... Пострашать надо...

Во всех домах Медвянов добивался того, что мужики соглашались тотчас же явиться к нему в дом, как только он известит через келейниц, что «идут раскулачивать», чтобы всем сообща устыдить их, отговорить, оттеснить.

Вечером Медвянов, возвращаясь домой, встретил пьяного Евлана.

— Ты куда это?—остановил он его.

— Сына проведать.

— С какой это радости нашлся? А скотину кто будет кормить?

— Накормишь сам... Всю зиму у меня не было дня выхода... да-а... это ты забыл?

Хозяйину не понравилась эта выходка пьяного батрака, хотелось распушить его, но смолчал и пошел прочь от него— времена-то какие—ой горе! Свяжись с ним, после покаешься.

Евлан третий раз шел попытаться увидеть сына.

— Дворец Евлампия Дудкина,—прокричал он, мотаясь из стороны в сторону и, вскинув руку к шапке,—отдал честь.

Замка на двери не было и он обрадовался:

— А-а-а, Павел-отшельник тут!

Когда он вошел в избу, сын сидел за столом и ел воблу с хлебом. На краю стола лежала чуть початая буханка хлеба—видать он получил ее в селе—хлеб был казенной выпечки. На букет цветов накинута газета—от двери она на миг показалась старику грязноватым весенним сугробом снега и в связи с этим почему-то мелькнул падающий Петунин, нестройный гул леса, грязные сугробы в лесу и у железнодорожного полотна. Во время еды Павел читал газету. Увидев вошедшего отца, он бросил чтение газеты и проглотил прожеванное.

— Не хочешь ли воблы?—предложил он отцу.

— Посолоюсь с охоткой... Ну-ка найди мне с икоркой... Ты, говорят, сегодня в село ходил?—спросил он, обдирая воблу.

— Да, ходил в село.

— А я тебя весь день искал. Второй раз уж вот напиваюсь.

— Ради какого это праздника?

— Чтобы тебе крепкое слово сказать.

— Ну говори! Интересно, что это у тебя за крепкие слова появились.

Отец пристально поглядел Павлу в лицо:

— Ты, Паш, может хворый какой?

Сын откинулся к окну, облокотился локтем на подоконник, испуганно нахмурил лицо:

— Что?.. В чем дело? Какой хворый?..

— Вот я давно хочу тебя спросить—тебя на девок позовет ли?

— А тебе не все равно,—смущенно протянул сын.— Что ты в уме ли? С чего вздумал спрашивать?

— Да как же?! Софья Ефимовна к тебе всей душой расположена, а ты, как чурбан,—никакого движения не оказываешь... А уж, кажись, девка такая, что растопиться можно, около ее старый закипит.

— Да что ты мне все Софью Ефимовну подсовываешь,—огрызнулся на него Павел.— Она мой классовый враг. Она дочь кулака, а я твой сын... На кой чорт она мне нужна? Никакой любви между нами не может произойти. Не могу понять, с чего это ты ко мне с ней стал приставать?!

Отец накаляясь и ощущая в себе волю родительской власти и житейского опыта, властно стукнул кулаком по столу.

— Женить тебя, Паша, хочу!.. Время твое прошло... Пора по-людски жить. Помаялся один, хватит. Невесту я тебе нашел—надо бы лучше, да нельзя. И, главное, не должны мы ее из рук упускать.

— Ты, старик, можешь не беспокоиться—я очень хорошо и сам, без тебя женюсь. Пока мне еще не до женитьбы—у меня делов по горло, да и жена в худую избу, да к буханке хлеба не пойдет.

Отец торжествующе и высокомерно засмеялся:

— Какой ты, Пашуха, несмышленыш, как утенок. Неужели я не знаю, что тебе не к чему привести жену. Вот от того твое счастье и велико. Счастье на тебя целым облаком сваливается. Ефим Лукьяныч все тебе отдает на полном ходу. Я, говорит, стар, мне ничего не надо,—жить осталось недолго—все будет его, только попрошу—дочку бы не обижал. А ты ей очень по сердцу. Будете жить—ворковать.

Павел страдальчески сморщил лицо и покрутил головой:

— Понимаешь ли, ты, старик,—это мне не счастье, а гибель. Я хочу, чтобы вся деревня была счастлива и радостна, сыто жила. Для этого мы организуем колхоз. Межи нарушим, лошадей и сельско-хозяйственные орудия объединим. Будем все вместе работать и налаживать общее счастье, которое называется социализмом. Пойми, старик, это так просто и понятно. А Медвянова мы раскулачим, значит, все отнимем у него, потому что свое богатство он нажил не своим трудом, а руками десятка вот таких темных Евланов. Это тоже понятно.

Отец грозно застучал кулаком по столу:

— Крошки я вам тронуть не дам. Если так говоришь, это значит—все мое. Я заработал.

— Брось, старик, дурить,—окончательно рассердился на него сын,—напился, да и бормочешь, чорт знает что... Не один ты работал. Десятки батраков на него работали, почти всю деревню он эксплуатировал.

— А моя работа—всем работкам работа. Да-а, знаешь ты, да мало,—в свою очередь кричал на него отец.— В моих руках весь его дом... что хочу, то с хозяином и сделаю.

Сын знал за ним привычку без-толку, без дела хвалиться кичиться иногда своей мозговитостью, даже соврать, и он обрезал его:

— Слепень ты... дурак старый... Ну, зачем ты кочевряжишься?.. Что ты несешь? На кой чорт это мне нужно?

Старик вскочил и подступил к Павлу с кулаками.

— Ты отцу такие слова... За такие слова тебя бог на месте разнесет...

Он развернулся, чтобы дать ему в ухо, но сын ухватил его за руку и с силой бросил на лавку.

От бессилия, от злости, от неудачи старик завыл, потом вдруг обмяк и ослаб.

— Какие ты мне, Паша, слова сказал? А? Отцу-то?!,— забормотал он сквозь слезы. — А я как тебя любил, как я тебя ждал... Я для тебя на убийство пошел, а ты меня пинаешь, как собаченку... Ефим Лукьяныч говорит: «Подходящ мне твой Павел и сердцу моей Сонюшки люб—давай родниться... Все вам передам, только Сонюшку не обижайте... Пойдем, говорит, пристукнем Петунина, потому мне виденье такое было—прилетел из града Китежа ангелок с приказаньем его задавить...

Павел затрясся и схватил себя за волосы:

— Врешь, старик!.. Зачем ты на себя врешь?.. Лгун седой!.. Ты думаешь этим заставишь меня жениться на кулацкой дочке... Зачем ты врешь, что вы убили, раз он под поезд лег...

На это старик в злобном оцепенении прохрипел:

— А мы ваш этот колхоз—Миколку-то—гирами, гирами... а потом башкой на рельсу, а тут товарный идет... хруп...

Павел облокотился на стол и, задев, прощуршал рукавом о газету,—оба вздрогнули, посмотрели друг на друга испуганными, непонимающими глазами.

— Значит, правильно?—тихо сказал сын. — Не врешь? Можно поверить? Заботливый отец, приготовил мне местечко... невесту богатую... так, так...

— Паша, сынок!.. воззри на мои заботы!.. успокой мое сердце—женись на Сонюшке!

Сын смотрелся вокруг—в избе сидели печальные сумерки. На лавке скорчился жалкий, сухонький старик, в измятой, выгоревшей тужурке, в лаптях и смотрел на него робко, просяще.

Ему стало непереносно больно смотреть на отца.

— Я ведь зимой писал тебе, что такое колхоз, поняли ты!..

— Паша, это на вас божье напущение... Ты не бойся! Таких, как Миколка, священное писанье разрешает...

Сыну сделалось страшно и душно, и он как-то тяжело, пришибленно, осунувшись, пошел из избы. Отец бросился к нему под ноги:

— Сынок, осчастливь меня и себя... Такой богатырь ты у меня... не погуби отца,—бормотал он, целуя голенища его сапог.

Он медленно перешагнул через старика, отрывая от своих ног его руки, вышел из избы и прыгнул с полуразвалившегося крыльца. Пробежав улицу, мимо сараюшек, Павел остановился на гумне... Вдали показался Ерофей. На душе было до того тоскливо и жутко, что хотелось замереть или бежать куда попало, куда только глядят глаза, и он обрадовался появлению Ерофея, хотел кричать, но кричать не мог: казалось, язык не послушается и вместо—«Ерофей, подожди»—вырвется какой-нибудь рев или страшные слова... В поле, в бороздах, как огромные кипжалы, лежала вода...

В прошлогодней жниве, которая хрустела под ногами, не было ни одного хотя бы маленького живого существа. Пашкось

через плечо, в дремных лесных сумерках думала о чем-то близком, неразрешимом деревня Гудеж. Над деревней высился громадный дом Медвянова. Впереди, через поле, гордился своим несокрушимым здоровьем и силой еще безлиственный лес, в который сейчас входил Ерофей.

Через увалы лесов деревни: Соболиха, Киселиха, Пузеиха— это позднего поселения деревни, а более раннего— Чувиль, Сога, Тучеж, Гудеж... А там, дальше, дальше, в лесах есть святое озеро Светлояр и невидимый град Китеж. Если праведному человеку поглядеть в тихие воды Светлояра, он увидит белокаменные соборы, дворцы, кремль града Китежа. Надо припасть к земле и долго, долго внимать, и до слуха допесется чудесный малиновый звон бесчисленных китежских колоколов.

Раньше старики, удостоившиеся видеть невидимый град и слушать серебряный звон его соборов, почитались божьими угодниками и исцелителями, а теперь молодежь насмехается и открыто говорит им о безбожии. Молодежь устраивает на Светлояр экскурсии и катается по озеру, на дне которого невидимый град Китеж, с гармониями и песнями.

Волнение остывало и от этого на душе у Павла становилось еще тяжелее и безысходнее. Из леса вышла и пошла межей, отделявшей поле Медвянова от крестьянских полей, Софья; она несла охапку первых, весенних лесных цветов и трав. Лицо у нее белое, скучное.

— Куда ты, Павлик?

— В лес.

— Как ты изменился: похудел, сгорбился.

— Заботы много.

Она засмеялась. В смехе разлилась потка умного удивления над маленькой ложью непутевого человека.

— Какой это заботы? Дом, поди, устраиваешь?

— Нет не дом... Другое.

Крепко помолчали.

— Идем пройдемся, Павлик! Посмотри— тихий, весенний вечер— благодать!

Глаза его сделались нерешительными, испуганными.

— Мне надо на охоту. Ерофей дожидается,— говорил он, боясь сойти с межи на полосу.

Софья стыдливо опустила ресницы и презрительно скривила губы,— дескать, подумаешь какой зазнаха, туда же, загибается.— капризно повернулась и тихо пошла к деревне.

Он посмотрел ей вслед.

«Навязывается... Женишка охота, а никак не находится. Что говорить, кулацкие дочки— товар нынче не ходовой. Интересно, замешана ли она в убийстве Петупина?».— От этой мысли он даже остановился: «ах, из головы вон! Через намек можно бы определить— знает ли она об этом. Ну, ладно— там разберутся, кто замешан».

«Где-то тут надо найти выход!»—думал Павел. Мысль тянулась медленно, тяжело: «Будто знал, что без драмы, без тяжести в душе дело с колхозом не пройдет, так и вышло».

«Медвянов, Медвянов-то что делает,—дивился он.—Подумать только, такой решительный ход. Он моего старика взял в руки деликом. Душу даже его переделал так, как ему нужно. Без отца он не мог бы стащить Петунина к полотну и так чисто замести следы, а потом—принятием меня в зятя он делился устроить дочь и спасти свое хозяйство. Кто посмеет тронуть демобилизованного красноармейца, сына батрака. Ну, только скажу я тебе Медвянов—просчитался ты. И смекалист, и решителен, а сваял дурака. Сидя здесь в глуши, главного-то и не знаешь, что красноармейца и кандидата партии Павла Дудкина ты не купишь ни толстой дочерью, ни всем своим богатством. Легко тебе было кушнуть моего старика, которого ты за десятки лет работы у тебя исковеркал на свой лад; с помощью религии сделал из него терпеливого, ломового законченного батрака-холуя, но меня ты не купишь». И в эту минуту он в зверином ожесточении представил, как он донесет на Медвянова, как его арестуют, поведут.

Вдруг он вздрогнул в приливе животного страха и остановился:

«Как быть с отцом?—эта мысль сверлила мозг Павла,—ведь он тоже убивал, тащил его к полотну, скрывал убийство и все это для того, чтобы не допустить организации колхоза, чтобы провести в жизнь свои корыстные мыслишки. Он должен понести такое же наказание. Доказать на них—это значит, проститься с отцом навеки».

«Отец... старичишка... батрак Евлан!»—мысленно воскликнул он и сделал над собой усилие, стараясь сжать и прикусить расплывающиеся в сторону губы, но управиться с ними помешало новое, совершенно незнакомое доселе ощущение: будто глаза на белесо-синих палочках в сантиметр длины выкатились вперед, горячие такие, тяжелые, с силой готовые упасть. Ему показалось даже на миг, что он видел свои глаза и тут же быстро овладел собой, как только почувствовал на щеке широкие потоки теплых слез. Самая первая слеза остановилась на верхней губе,—он слизнул ее,—соленая.

«Ну, что я?.. Ну, что я?..—растерянно сдерживал Павел себя.— Надо решительно делать... все можно решить».

Хотелось твердости, решимости, а вместо этого мелькал в сознании какой-то туманный образ отца и вспоминалась жалкая, безалаберная, жуткая жизнь его. Еще молодым мужиком из-за измены жены с пастухом Колесовым он пропил лошаденку, сарай, сбрую. Мертвецки пил, бил жену, крушил свое небогатое хозяйствико. Допился до белой горячки,—тогда жена стала его лечить—возить к колдунам, к бабкам, которые поили его настоем лесных трав; святые отцы, видевшие град Китеж,



отчитывали его от запоя по древним книгам. Кое-как оправившись, он впал в религиозность: бродил на молебствия на озеро Светлояр, обошел многочисленных лесных отшельников, доходил до далеких глухих скитов. Одно лето доходило до того, что считал себя подготовленным для божьих откровений и после ночи молений вместе с китежскими ревнителями наутро смотрел на дно святого озера, дерзая увидеть Китеж и услышать серебряный звон его соборов, но узреть невидимый град не удостоился, а звон как-будто до слуха доносился из необъятного далека, но потом оказалось, что это звонили к заутрени в селе Чапыж.

После этого наступило безразличное, терпеливое, нудное настроение душевно-угнетенного человека. Жил он в пастухах, батрачил, потом попал в руки Медвянову и прожил у него полтора десятка лет слишком.

Сделали его там тихим, послушным, робким, запуганным адскими мучениями...

«Старик, ну что ты наделал? Как же мне быть с тобой?» — без конца восклицал Павел.

В это время кусты и молодые елочки широкого перелесья зашелестели и Павел различил в темноте — прямо на него на четвереньках лезла какая-то фигура. — «Медведь» — мелькнуло в сознании, но сильнее страха было чувство тупого безразличия и угнетенности. Через минуту он узнал по длинному ружью Ерофея, который в тот же момент пробежал мимо него.

— Ерофе-ей! — крикнул Дудкин.

Охотник не обернулся. Невдалеке снялся токовавший до этого тетерев и грузно полетел, задевая за ветки крыльями. Ерофей вернулся.

— Ты что здесь шатаешься?

— Так, понимаешь... к тебе пришел.

— Ну, пришел, не мешай — ходи за мной тише. Петух... старый... Еле с куста поднимется.

Он на минуту прислушался к далекому токованью и бегом пустился по молодому перелесью. Тогда ощутил Павел внезапную легкость на сердце и, чтобы не терять ее, пошел в ту сторону, куда скрылся Ерофей. Он постепенно прибавлял шаг, чтобы не потерять Ерофея, очертя голову пробирался сквозь кусты, запинался за них, задевал головой за длинные ветки широких молодых елок.

Впереди токовал тетерев. Эти звуки пробуждали дурманящие беспокойные чувства, отчего неволью вспоминалась Лидка Румянцева.

Грохнулся выстрел. Звук разбился в лесной тишине. Осколки его брызнули по перелесью.

Выстрел тронул охотничий инстинкт. Павел встрепенулся и побежал к Ерофею.

В приподнятой руке Ерофея висела массивная черная птица.

— Во-та,—выдохнул он радостно и удовлетворенно.

— Петух... фунтов на двенадцать. Пир горой можно устроить.

Павел взял птицу в руки, прикинул ее на вес, погладил и нашел:

— Одна дробина в голову попала.

— Верти!—говорит Ерофей тоном явного благодущия, протягивая бумагу и табак.— Сейчас мы пойдем к старовойской березе, засидем в шалаш—на зорьке такие тока у березы откроются, аж от радости задрожит весь.

Они неторопно закуривают и трогаются в путь. Ерофей дышит шумно, с наслаждением живет вместе с природой, отмечает малейшие ее запахи, шорохи.

— Какая теплая почва,—умильно шепчет он.— Можно огурцы в гряды высаживать—заморозков нынче не будет.

— У нас на Араксе теперь, наверно, теплынь,—вспоминает тронутый его восторгом Павел.

— Аракс, это, Ерофей, такая река. По Араксу граница идет.

Ерофея не трогает далекая закавказская река,—он бесспорно влюблен в северный лес и доволен своим охотничьим талантом до ощущения полного счастья.

Из лесу доносятся редкие звуки. Спит лес. В шалаше тесно. Павел ворочается, сопит, потом говорит тихо:

— А у меня, понимаешь, отцу захворал.

— Выздоровеет,—отмахивается Ерофей, погруженный в свои самобытные гудежские думы.— В такие ясные дни он не умрет,—уверенно заявляет он.

— Плох. Наверно, умрет... Один останусь... Все-таки старика очень жалко.

— Ничего, раздышитя.

Павел умолкает, чувствуя нарастающую обиду. Ему становится ясно, что Ерофей далек от его страданий, как и эта безразличная, строга я природа.

Через несколько минут молчание нарушает Ерофей:

— Павлух, дадут ли мне в кредитном ссуду на постройку загороди? Книжку я читал про лесят. Значит, их разводят самовично в лесочке, округ загородь. Вот бы я гнезда два, три за лето выбрал,—от них через год—о-о! какой выводок развелся бы...

— При колхозе, Ерофей, мы этот питомник устроим.

— Жди тебя... Вон Петунин устроился на рельзу, да и ты чего-то голову на бок свернул.

— Не сам он, а дяди его устроили на рельсу,—проговорил глухо Дудкин.

Над шалашом прошумела крыльями какая-то легкая птица.

Ерофей переменял положение, сел прямее, настороженно вытянул голову и срывающимся голосом спросил:

— Узнал, что ли, чего?

Дудкин минуту-две колебался сказать Ерофею—тогда приговор отцу подписан, а этому вопросу еще нет решения, к тому же говорить в лесу об этом страшно—и он увернулся:

— Сдается мне, что он сам себя не прикончил бы.

Ерофей грустно вздохнул и повалился на бок, на подостланные ветки:

— Я думал ты экстренное что скажешь... Это слыхано.

\* \* \*

Павел проснулся от выстрела,—палил Ерофей где-то поблизости. Никогда так не клонило ко сну, как сейчас; сон мутный, гнетущий, но необыкновенно властный и желанный. Не успело разлиться раздражение на Ерофея, разбудившего его выстрелом, как вспомнился весь ужас вечерних переживаний.

Знобило ноги, бок, на котором лежал, голову, но забыться хотелось во что бы то ни стало, сейчас, немедленно. Он улегся удобнее, натянул на голову ворот шинели, согрел руки в рукавах и, подобравшись в комок, уснул тем же неосвежающим тяжелым сном.

Снились ему худые, голодные негры и высокие печальные негритянские женщины, которые почему-то со слезами на глазах ухаживали за ним с материнской заботливостью и о чем-то все шептались.

Проснулся он от озноба, охватившего все тело.

Над лесом горело солнце. Около шалаша валялось много пуха и перья от убитой птицы. Стараясь скорее согреться, Павел быстро пошел в сторону деревни, не отгибая воротника шинели.

Палетевшие опять мысли об отце и Медвянове вызвали на этот раз раздражение.

«Натворил, слепень, чорт знает что—теперь и не расхлебашь,—вновь мысленно обратился он к отцу. — Ничего не смыслит в нынешней жизни, а туда же сунулся устраивать судьбу сына».

Послышалось пение петухов, мык коров. Лес поредел и он вступил в поле. Перед глазами запестрели разноцветные платя, рубахи, платки, коровы, овцы—пестрые, красные, белые. Раздавалось щелканье кнута, крики баб, ребятишек, визги девушек и хохот парней.

Павел несмело, будто тайный преступник, подошел к толпе, и все увидели, какое у него изнеможенное лицо. Он чувствовал себя одиноким, пришибленным, потерявшимся.

— Где ты пропадаешь?—набросился на него Катин.

— Мы тебя искали, искали...

— Я с Ерофеем на охоту ходил.

Пушкин недоверчиво покосился на него:

— Ерофей давным, давно дома.

— Вчера поздно вечером,—горячится Катин,—приехали из района раскулачивать Медвянова... Уж мы тебя искали: и в деревне, и на реке... и... и... И опять утром тебя искали. Сам знаешь, без тебя, как без рук.

Комсомольцы около Павла говорили возбужденно, обрадованно. Видно было—они твердо знали, что приезд комиссии из района и раскулачивание Медвянова будет началом небывалого перелома в жизни деревни, и довольны были, что нашли Павла, которого так недоставало и вечером и утром.

— А мы как напугались—не случилось ли, мол, чего, как с Петуниным.

Дудкин поежился от внутренней дрожи:

«Петунин... Петунин...».— Он обводит ребят виноватым смущенным взглядом и думает: «Неужели я им ничего не скажу? Из-за отца разладить с ними? Нет... Нет... Я красноармеец... товарищ...».

Его мысли перебивает бабий крик:

— Перса, поди—к тебе мамзели с фабрики приехала... колхоз устраивать.

Это кричит жена Рундукова.

«Меня, значит, персой прозвали... Уже успели»,—усмехнулся Дудкин, ничего не отвечая бабе.

— Припасла язык-ат,—кричит ей Летчик.—Валяй, есть обо что почесать.

Они дружной толпой трогаются к деревне. Павел видит еле заметную поросль зеленинки, босые ноги Катина, смело попирающие сухую дребезжащую жнивю. Ему теперь только страшно. Произойдет что-то громоздкое, сложное. И начало этому положит он зловонным криком или придуренным шопотом. На краю деревни перешла улицу Павла—плат низко опущен на глаза. Дудкин заметил ее невеселое лицо и кровоподтек на виске.

— Что с ней?—обеспокоенно спросил он. Ребята ответили в несколько голосов:

— Это ее Феня Самоход разукрасила.— «Ты, говорит, у меня сына погубила».— Как, значит, поправилась здоровьем, так и избила.

На лице его появился неприятный кирпичный румянец, он ощутил резкое презрение к себе: «К чему вся эта распутица в настроении? Почему он дал такую волю чувству жалости по отношению к отцу? Отец сделал преступление и должен понести наказание. Ясно! Но ведь это он сделал ради меня... Из любви к сыну. Он только орудие в руках кулака...».

И опять слабые, разъедающие стойкость и решительность, мысли лезут в голову...

В избе Катина сидели двое приезжих: мобилизованный райкомом на колхозную работу избач из Озарова, партиед—друг покойного Петунина и пожилая работница—текстильщица

из города с костистым некрасивым лицом, но такая прикреннистая, широкая в обношенном, черном бобриковом пальто. Она придирчиво посмотрела на него—глаза серые с просинью, как кусочек выцветшей северной дали—и сказала с раздражением:

— Что же это ты, товарищ организатор, халатничаешь?

Павел, глядя виновато в сторону и чувствуя прилив противной неловкости, ответил отрывисто:

— Понимаешь, был на охоте да заплутался.

Кто-то отогнул ему воротник шинели. Он оглянулся—сзади его стоит Лидка Румянцева и говорит с шутливой заботливостью:

— Не замерзши! Башлык тебе не надо ли?.. Постыдись—на солнышке растопиться впору...

От нее пахло чем-то приятным, новым. Павел в ответ ей осклабился:

— А-а... духами напрыскалась!—и подумал: «Люблю, ведь, я тебя, чертовка».

— Что ты дурачок!

— Чем же это так хорошо пахнет?

— Ситцем... гляди платье новое...

Багдя-сын ущипнул ее за бок:

— Вот так ситчик. Поди, запасла... Теперь уж не купишь. Она изо-всей силы плешнула ему по плечу. Багдя, морщась, ухватился за плечо:

— Ну и хватила. Кобыла.

— А ты не щиплись, а то и по носу съезжу.

\* \* \*

Медвянов явно медлил; неизмеримо долго разглядывал бумагу райисполкома, предъявленную избачем, возглавлявшим комиссию, в которую теперь еще входил представителем от колхоза Дудкин. Стояли в широком светлом тесовом крыльце. Позади комиссии толпились колхозники.

Прочитав бумажку два раза с начала и до конца, включая сюда и штамп, Медвянов все держал ее перед лицом, потом вдруг оторвавшись, вскинул взгляд на Дудкина:

— А мы с твоим отцом не думали, не гадали, что ты таким оболтусом приедешь!

Дудкин быстро нашелся ответить:

— А при чем тут ты?.. Как это я тебе родным довожусь?..

— А мы с твоим отцом, как братья живем.

— Хороши братья—один хозяин, другой батрак.

— Давно ли это вы побратались?

— Семнадцатый год он у меня, как родной брат, живет. Спроси его—он подтвердит. Семнадцатый год живет без убога, стало-быть, хорошо ему жить. Со мной жить легко—душа у меня уживчивая и ласковая. Мы сжились с ним так, что нас сплом не растащишь. Я через него и о тебе, как о сыне, заботился...

И у меня на языке, как и у него: Паша... Паша... Что Паша долго не пишет... Не прислал ли Паша письмоцо. Мерекали все с ним, как бы жизнь твою счастливо наладить.

— Брось заливать,—скорбно возмутился Дудкин.— Ты его, чорт знает, как эксплуатировал... Все знают, что он у тебя по лошадиному ломил...

— Еспло... мы этих слов, Павлик, не понимаем,—наивно, беспомощно засмеялся Медвянов.— Мы сердцем живем... душой руководимся... Это вы только злобой польхаете...

— Чего ты этими пустяками хочешь достигнуть?—осадила его решительным взглядом и вопросом, поставленным в упор, Дудкин.— Чтобы разоружить нас? Сбить с толку? Да?! Так это напрасно! На нас сладкими песнями не подействуешь. Или, чтобы дискредитировать меня?.. Катин, заступай вместо меня в комиссию, а то, может быть, думать после этого на меня будут чего-нибудь плохое.

Сзади загудели колхозники. Послышались голоса Чеснокова, Матушкина, Багли, Тишки Летчика.

— Зря ты, Павлух, заартачился.

— Мало ли он что в расстройстве наболтает.

— Доверили тебе—и делай.

— Ну его к чорту. Вымотал всего старичишку, да еще в братья себе ставит, когда—вво как подперло.

— Староверством своим он его не человеком сделал.

— Как ведь прикинется—ровно святой. А бывало больше станového его боялись.

— Сколько годов бумажку будешь читать?.. — разъярился избач.

— Читаешь, читаешь и конца нет.

Медвянов протянул ему бумажку и обратился к мужикам, редко моргая глазами.

— Грабительская, братцы, бумажка-та. Как вы на это смотрите? Мир, по моему размышлению, может это приостановить.

Молчали, Тишка Летчик за всех отрезал:

— По классовой борьбе все правильно.

Избач решительно двинулся вверх, за ним пошел Дудкин, работница. Несмело толкаясь, тронулись комеомольцы и колхозники.

Спохватившись, избач на лестнице обернулся и приказно кивнул головой:

— Сюда иди...—И добавил строже: — Следуй за нами!

Медвянов мешковато повернулся и, поднимаясь по лестнице, старался выказать, что он хилый, беспомощный, до конца обиженный.

Позади его скрипели под десятками ног чисто вымытые половицы и сбежавший по ним половичок подружился с худым лаптем Багли и тащился за ним вверх.

— Ах, и мастер же ты Багтя,—заметил ему Пушкин.—Глядите, ребята, ногой половичок свертывает, а потом в карман.

— На портянки, красавчик, просишься, на портянки,—говорил Багтя, вызволяя из половика ногу в худом лапте.

Завершил шествие Тишка Летчик, уныло постукивая костылями и сопя.

Избач приступил к описи имущества.

— Машины бы, скотину бы сначала, а небель от нас не уйдет,—мрачно заявил Чесноков.

Комиссия не поддержала его.

Все поняли, что его предложение хотя и дельно, но неуместно — это только урон авторитету комиссии. И его окрикнули:

— Куда торопишься?..

— Знаем, что у него есть—не утаит.

— Маргарита!—крикнул в двери Медвянов,—дай мне нож, я распахну себе белу грудь.

Маргарита в ответ вещим голосом сказала молитву, и было это жутко, неожиданно. Многие вздрогнули.

— Гражданка, выйдите!—крикнул избач.

— Здесь не церковь.

Дом этот святой церкви... Он благословлен господом,—истерически выкрикнула Маргарита.

— Довольно дурман напускать... Ребята, выведите ее!

Вдруг зарыдала стоявшая у окна Софья.

— Кто это?—обеспокоенно обернулась текстильщица.

— Дочь единая...

— Без скандалу такое дело не проведешь.

— Вишь он и сам-то утирается.

— Привык к такой жисте... А тут пересадка.

— Продолжаем,—призывал избач.— Не обращайтесь на них внимания.

В зале появились Рундуков, Полозов, Пузырев, Евтеев, Курин и с ними некоторые середняки. Они встали впереди колхозников, как-то оттеснили их в угол и в проход:

— Что это за гуси прилетели?—Задиристо начал Полозов.— Своего наживи, а потом на бумагу-ту и записывай, чтобы не забыть... Ишь ты, какие горячие!—Рундуков при этих словах размахивал руками и взглядом призывал мужиков к протесту.

На середине комнаты появился Евлав, усталый, запыхавшийся; на потном лбу пряди седых волос, как тающий снег,—было видно, что он бегал по деревне, собирал зажиточных. Он ухватился обеими руками за спинку дивана, обитого старинным в мелкий рисунок ситчиком, и завопил:

— Не да-ам!.. Что вы нас грабите?

Зажиточные обступили комиссию:

— Что это за право такое пошло—мужиков добра лишать?..

Избач шагнул к ним навстречу:

— Не перевирайте суть линии. Средняков мы не тревожим, а он кулак и подлежит раскулачиванию.

— Чем же он так перед вами провинился?

— Теперь если им это самое позволить,—напористо заговорил во всю силу своего голоса Медвянов,—так они всех перешерстят: сегодня меня, на той неделе Пузырева, Рундукова...

Слова Медвянова вдохновили Рундукова, и он подступил к избачу:

— Выкинуть их из дому—только и дело.

Евтеев добавил:

— Из деревни проводить так, чтобы век не забыли.

Батрак, ухватясь обеими руками за диван, крикнул:

— Не дам... Наше это кромное... Мы с ним все это своим горбом заработали.

— Здорово, Евлан, тебя настрадал хозяйин-то,—внушительно сказал ему Тишка Летчик.— Ах, дурак ты, дурак! На этом диване ты ведь не сизживал...

Наперсток захохотал:

— Смотрите, и верно он к Медвянову в братья записался.

Медвянов подхватил:

— Мы с ним братья во христе.

— Может, в богородице?

— Ах, вы, окаянные!.. Вам бы только издеваться.

— Сам ты окаянный!—крикнул бледный дрожащий Дудкин.— Братья во христе тоже... Эх, вы!..

И мгновенно озверев, он выдохнул:

— Товарищи, они... Эти братья... Кольку Петунина убили... Гирыми... а потом на рельсу его головой...

— Врет, мошенник, врет,—перебил его Медвянов.— Православные, не верьте ему! Он поряженный коммунистами врать, чтобы загубить меня.

— Сам отец мне сказывал. Медвянов уговорил его: «субьем, гыт, Петунина... за это я твоего сына в зятя возьму...».— Вот и убили. Вчера вечером сказывал.

Рундуков двинулся к выходу, за ним Пузырев, Евтеев, Курин. Стенан Дочкин тоненьким смешным голоском пропел:

— Ах вы, голубчики,—потрудились, значит, во спасение души.

— Православные, врет он, поряженный.

— Вот дурило привязался...

Софья захрипела и упала в обморок. У Евлана подкосились ноги: придерживаясь за спинку дивана, он стал оседать на колени, уставившись остановившимся побелевшим взором на сына:

— Проклинаю!.. Един ты у меня—и все-таки проклинаю...

— Ошибся ты, дядя Евлан,—обратился к нему Тишка Летчик.— Не в ту сторону ты двинулся. Тебе бы к нам надо приставать, а ты к богу, да к кулаку...



Прошла неделя. Колхозники провели уже пробный выезд в поле.

Дудкин второй раз сегодня шел за околицу. Сегодня должен вернуться из города избач, уехавший за кредитом и машинами для колхоза. Наперсток уехал за ним на станцию еще в полдень на «Пусике» (мать Петунина вступила в колхоз).

На выходе в поле с ним встретился Матвей Пушкин, на этот раз какой-то необыкновенный, взбалмошный, вспетушенный. Он нечаянно обрадовался Павлу, засуетился:

— Слуш-ка. Хочешь я дам тебе картошки мер пять. У тебя, наверно, есть нечего.

— Что с тобой?

— Или я чуден?—засмеялся Пушкин. — Это со всяким бывает. Жёнюсь я.

— На ком?..

— На староверочке... На Павле. Три недели, понимаешь, улежал—из сил выбился.

— У тебя же двое детей...

— На детей идет, не боится. Как синяки у нее пройдут,—пир устрою. Куда ты? Пойдем картошки отсыплю.

— Избача иду встречать... поговорить надо.

— Заходи...

Он прошел два поля—клевер и озимь—и остановился на краю перелеска. Вступать в перелесок не хотелось. Лес напоминал о чем-то темном и жутком.

Минут через десять кто-то сказал впереди:

— Встречает.

Дудкин прислушался, но это было уже не нужно—из-за живых кустов вывернулась маленькая тележка Наперстка на легком тарантасном ходу. Толстый, но давно нечищенный, с мохрами навоза на брюхе «Пусик» на колесах так и вскидывал за собой тележку.

«Встречает», еще раз сказал Наперсток. Избач, сидевший задом к вознице, повернулся и глянул на Дудкина. По каменно-сосредоточенному лицу его, по прикушенной губе Павел догадался, что он должен сказать, что-то тяжелое и потому медленно двинулся к нему навстречу. Наперсток остановил лошадь.

— Не забыл узнать?...—сухо начал Павел.

— Узнал.

— Ну, как?..

— Постановлением коллегии... уже...

Павел дернулся.

— Обоих?..

— Да-а... Время—польмя...

Павел покачнулся, не сразу спохватился, что на него испытующе смотрят четыре глаза, и пнул шишку, что-де,

оступился. Но тут же решил, что храбриться тут не к чему, боль эту удалством не пересишь, тихо повернулся и пошел в поле.

— Куда ты?—страдно крикнул ему избач.

Он ответил, не оборачиваясь:

— Про-о.. проветриться...

Потом услышал слова Наперстка:

— Садился бы в тележку. Куда полез? Смотри, одному-то хуже в таком разе. На народе скорее пройдет, скорее легче будет.

Дудкин мотнулся в сторону, сделал полукруг и подошел к тележке. Избач подвинулся вперед, оставив ему лучшее сиденье.

— Н-но, Пусик!

Тележка тронулась.

В поле Наперсток, как бы ничего не бывало, весело заговорил:

— Какие роскошные озимя... Ежели прикидывать по зиме, лето будет дождливое.

**Трудом и наукой мы двигаем жизнь.  
На новый призыв не замедли с ответом.  
— Оружием слова владеть научись —  
Никто не родился вождем иль поэтом.**

## НАША ОСЕНЬ

Известкой мороза лужи запылены,  
 Над рыхлой постелью задумались клены.  
 Задумались клены, стоят без наряда,  
 Но песен печальных им вовсе не надо.  
 И песня иные нашла рубежи:  
 Осенняя скука в архиве лежит.  
 Осенняя грусть с меланхолией вместе  
 Досталась в наследство мещанской невесте.  
 Да лирик чувствительный из «Перевала»,  
 В дни осени болен кручиной бывалой;  
 Капли его вдохновенных слез  
 Падают в лужу у голых берез.  
 Точка.  
 Здравствуй,  
 Осеннее счастье!  
 Воздух от грохота рвется на части.  
 Эхо густое кварталы колышет—  
 Перекликаются новые крыши.  
 Мимо асфальта в осеннем тумане  
 Гордо проходят дома великаны.  
 Широкоплечие дети сезона,  
 Сколько вы городу отдали звона!  
 Сколько песен, любовью согретых,  
 Вы пробудили в рабочих поэтах!  
 Здравствуй, осень!  
 По пашням,  
 По нивам  
 Катится время колхозным приливом.  
 Сносит межи тяжелый трактор;  
 Красных обозов не счесть по трактам.  
 Власть кулака рукой трудовой  
 Скошена, брошена сорной травой.  
 Сила ткача не устала литься  
 Доброй нормой хорошего ситца.  
 Гулко встречают  
 Рассвет оранжевый  
 Красная Талка,  
 Держинка, Меланжевый.

Тысячным хором поют каретки:  
«Выполним,  
Выполним  
План пятилетки!».  
Здравствуй, осень—морозная свежесть!  
Наши дороги  
Все те же,  
Все те же.  
С маршем победным ударных бригад  
Мы на тринадцатый вышли парад!

ВВАПП

Лучшие фабрики и заводы.  
Дают пятилетку в четыре года.  
В списке лучших пока просчет —  
Текстильный край отстает еще.  
Просчет позорный исправим мы —  
В бой с нытиками  
„левыми“ и правыми!

## ТЕМЫ И ТЕМПЫ

Дни, как дни,  
 То же утро, полдень, темь.  
 Почему не хотят они  
 Изменить свой обычный темп?  
 Нам хватило б одной зари...  
 Жизнь!—  
 Зачем она так скупа?  
 Мы пришли в этот мир творить,  
 А приходится есть и спать.  
 Не за сон—за солнце дрались!  
 Не затем, чтобы в темень ныть—  
 Из подполья перебрались  
 В сердце каменное страны.  
 И у нас ли нет новых тем?!  
 В каждой теме ударный темп,  
 Только темам, как на зло,  
 Нехватает ударных слов.  
 Нет сырья, вроде... да, сырья!  
 Все приходится из старья  
 Перекраивать, примерять.  
 Разве можно сказать на ять,  
 Если ять эту тоже в хлам  
 Революция отмела?  
 Жизнь!  
 Зачем она так скупа?  
 Нам хватило б одной зари.  
 Мы пришли в этот мир творить,  
 А приходится есть и спать.  
 У кого нет ударных тем,  
 Тем, конечно, легко уснуть,  
 Не разбудит их буйный темп  
 Рано утром встречать весну.  
 Век ползут они неспеша  
 И на службишку, и домой.  
 А у нас—семиверстный шаг  
 По ухабистой столбовой.  
 Мы родились не от совы,  
 Темь мешает нам так шагать,

Чтоб без выстрела,  
Без часовых  
Видеть на сто верст тень врага.  
А врагов у нас—  
Столько крыс  
Нет на мельницах водяных.  
Страшно хочется им прогрызть  
Сердце каменное страны.  
Так сильней же, ваш буйный темп,  
Семиверстными в жизнь шагай,  
И при свете,  
И в темноте  
Бей врага!

ИВАНИ

Мы революции верим,  
А враг— у красного оплота.  
Вооружение страны.  
Крепи удержано работой!

## П А Р О В О З

Рельсы полны звона.  
Мчится вперед экспресс.  
По сторонам вагонам  
Кланяется лес.

Целует белый пар  
Плешины желтых тропок.  
Ударник-кочегар,  
Корми утробы топок!

Вступили с ветром в спор,—  
Задохся дряхлый ветер.  
Нам звездный семафор  
От горизонта светит.

Упрямый дан зарок:  
Пять станций, перевалов  
В определенный срок  
Пройти во чтоб ни стало.

Кричали нытики,  
Шептали мямли:  
— Такой политики  
Держаться нам ли?

Состав распатан,  
Худые крыши.  
Нет, ребята,  
Давайте тише!

Как бы не сбиться  
С рельс победы;  
На-грех случится—  
В тупик заедем.

Нытикам ответ:  
Нет.  
Зорок у нас  
Глаз.

Выдержит путь  
Грудь.  
Эй, кочегар...  
П а р!!!

И уходили зябкие, робкие  
Прочь от стальных путей.  
Щупали палкой тропки.  
Падали в темноте.

А поезд в синеве  
Через леса и горы—  
Навстречу семафору,  
Осталось станций  
Д в е.

Литкружок—Родники

Дерись за грамоту, рабочий,  
Газете, книге другом будь,  
Чтобы к социализму путь  
Был много легче и короче!



## РАССКАЗ О СУМАСШЕДШЕЙ НОЧИ

## I.

— Серега, иди подсобляй, гроза, никак, будет... Серега!

— Ну?..

— Гроза, грю, идет... подсобляй!

— Какая гроза, очумела?

— Ей-бо, гроза... Эвона-а, подымается!

— Где? Мели...

Аркадий Николаевич с зевотой складывает книгу, долго чешет длинный породистый нос и, с натугой от жары, поворачивает свое оплывшее жиром, немолодое тело. Из окна виден двор сторожки, полный лесного пахучего сена. За двором—зеленой стеной неподвижно высятся березы, безмолвные, широко раскинувшие ветви, точно руки в любовной истоме. Ни одна бело-зеленая красавица не шелохнется. Даже осинник, вечно дрожащий в лихорадке, сегодня выздоровев, уснул в жаркой тишине. Зноем дышит бурая, обожженная трава; из окна, как из печки, вылетит в комнату духота. Мухам и темне-вмоготу, они сбились под столом, в тени, черными стаями. Один кузнечик без умолку трещит, и в зное этот треск мутит человека, призывает на рвоту.

Хорошо бы сейчас махнуть на речку, с головой уйти в прохладную воду, смыть с тела противную испарину, освежить душу... Да нет реки! На десятки верст—лес, изредка бочаги с тухлой, теплой водой, заросшие колючей осокой. От ближайшей путевой речки лесничество стоит в двадцати верстах. Там, на берегу быстрого Светлянки стоит село Чучеры, а в нем—школа с учительницей Верой Георгиевной.

Раз в месяц, а бывает и чаще, рано поутру, Аркадий Николаевич садает казенного жеребца и едет в село, к речке и учительнице. Он проводит чудеснейшим образом воскресный день и большую часть ночи. Трудно тогда сказать, что больше любит помощник лесничего: задорную речку или молчаливую, черную и мягкую, как ночь, Веру Георгиевну.

Возвращение всегда—длительное, в дремоте. Не раньше полдня доставляет «Вороной» своего ездока, пыльного, в мятой крахмальной рубашке, без воротничка и галстука; давно уже они лежат в кармане темно-синего франтового френча. И тогда,

вот так же, как и сейчас, еле дышит от зноя ревностный посетитель учительницы и речки.

— Фу-у, водицы бы, да студенной...— вздыхает Аркадий, стирая обеими ладонями испарину на животе. — Сходить что ли на колодезь?

Но лень ему нести свое пухлое тело к колодезю—единственной радости среди зноя, леса и тишины,—вот и мучается он в раскаленной комнате.

На дворе, в одной нижней холстяной рубахе, Елена—жена сторожа—на рысях огребает сено. Коричневые голяшки ее ног блестят на солнце, загар подобен шелку. Елена—худощавая, маленькая женщина, пряди русых, выцветших волос прилипли у ней на потное, обожженное лицо с красным вздернутым носом. Когда она наклоняется за «набором» сена—спереди свисает рубаха и Аркадию Николаевичу лвственно видны знакомые груди, непомерно большие, такие же коричневые, как и голяшки.

— Иди, иди, Серега!—кричит Елена мужу низким певучим голосом, переставая на минуту копнать сено.

— Да брось ты свое ружье!

— Ну-у?—недовольно ворчит тот, вылезая из-под навеса, стучается лохматой головой о жерди и лениво бранится: — Опять башкой дрызнулся... Хошь бы убрала свои жерди!

Он не спеша, огромный и неповоротливый, идет в сторожку, вешает в передний угол заржавленную двустволку и долго ищет грабли, а найдя, с сомнением их щупает, точно боится, что они рассыплются в его дюжих, волосатых руках. Выйдя на двор, задирает редкую бороду в пустое ситцевое небо.

— Ну, где туча? Вечно брешишь...

— Разуй глаза! Вон, с пустоши, синю-ушая...

Сергей поворачивается и действительно видит за макушками дальних берез темно-синее крыло, но сразу к работе не приступает: курит цыгарку. Жена ругается, пребольно тычет его грабелями, а он, как ни в чем не бывало, дышит дымом.

Аркадию Николаевичу смешно на них глядеть. Право он бы расхохотался во все горло, если бы не жара. «Моська и слон»—вспоминается ему полужабитая басня. Сергей действительно походит на слона. Высокий, плотный и медлительный, он не обладает разве только для своей внушительной фигуры таким же внушительным голосом. Из огромной глотки его никогда не вырывается и половина женина крика. И уж не криком ли и положила этого великана маленькая белокурая Елена?..

Говорят, что Сергей теряет спокойствие на охоте. Но Аркадий, хотя и прожил почти два года в лесничестве, на охоту не ходил и потому не знает охотничьего преобразования сторожа.

Сизое крыло тучи перемахнуло верхушки далеких берез, плывет над пустошью, и голубое, ситцевое небо вдруг подер-

гивается дымчатой кисеей. Проснулся осинник, забился в ознобе. Первый ветерок пахнул в окно и немного сбавил жар.

— Хошь бы ты, Аркадий Николаич, подсобил!

Елена пробегает с «набором» мимо окна. Возвращаясь с пустом—останавливается.

— И не лень день-деньской в книжку глядеть? Велик антирес... Господи, да ты никак нагишом расположился? Шел бы в контору, чай скоро Лексей Семеныч с городу приедут. А?... Язык отсох с жары что ли... молчишь?

Аркадий беззвучно смеется, упорно глядя в ворот елениной рубахи.

— Ишь, распустила!—сквозь зубы цедит он и от удовольствия жмурится.

— Распустишь тут...—у Елены вздрагивают брови, она делает вид, что одергивает рубаху, на самом же деле еще больше обнажает грудь.

— Не посмотрелся еще?—нахально дразнит она. — У учительши, поди, таких нет!

— Ладно... Смотри, потеряешь!—кусает пересохшие губы Аркадий и подмигивает.

— Небось!—смеется Елена, стреляет глазами на мужа, исправно огребающего сено. — Эх, вы, кобели!—вдыхает она, поднимая голову. — Туча почти над домом.

— Ах, пес-те дери-то, не успеешь!

Сегодня воскресенье, но Аркадий Николаевич не может совершить своего обычного путешествия на речку Светлянку, хотя там он и не бывал, кажется, три недели. Нельзя оставить лесничество без присмотра. Начальник его, Алексей Семенович, выбыл в далекий город, однако, и он вряд ли простил бы эту отлучку своему заму, спецу, счетоводу и прочая и прочая—по штатному сокращению. Да и в самом деле, мало ли что может случиться в лесничестве, например,—лесохищение... Нет, не то... За лесопорубщиками, хоть лопни—не уследишь, ибо по дурацкому распоряжению райлесотдела (да, да, Аркадий Николаевич об этом говорил и будет говорить!), лесничество перебраслось в настоящую глушь, где поймать вора так же легко, как словить быстрокрылого стрижа в поднебесьи. Мужики предпочитают рубить лес возле деревень, за 30—40 верст от лесничества. Глупейшее положение: сиди в лесу, гляди, как его расхищают, и—ушами хлопай. Когда-нибудь Аркадий Николаевич, вместе с товарищем Николаевым, добьются вновь переезда конторы в волость, поближе к лесопорубщикам и... учительнице.

— Ах, Верочка, Верочка... ночи бессонные!

А пока приходится, раздевшись догола, сидеть в накаленной комнате, жариться в собственном соку и услаждать себя излюбленными, старыми романами—подарок чучерского попомаря. Прочитает взапас такой роман, где бароны и графини

страстно объясняются в любви, осыпают золотом презренных шантажистов, купаются в вине и наслаждениях,—прочтет все это Аркадий Николаевич и помечтает об учительнице, о том, о сем... Мало ли о чем мечтает человек, когда получает по девятому разряду с пустышной нагрузкой, имея почти высшее образование и потерянную в удивительных нынешних годах карьеру. Помечтает и опять что-нибудь любимое прочтет,— вот и идет, тянется к вечеру, к вечерней прохладе, потное скучное время. Скоро придет Алексей, привезет на верное вина. Они выпьют, закусят, поспорят и будет весело...

И уж представляет себе Аркадий, как откупоривает бутылки портвейна, коньяку страстный любитель вкусно поест, а при случае и хорошо выпить, чернокудрый Алексей. Вот он с шутками и прибаутками режет свежую колбасу, пахнущую чесноком и еще чем-то таким ароматным, свойственным только колбасе, режет сыр с прозрачной слезой, ветчину... «Хорошо ему угощать,—думает вдруг Аркадий,—ответственную ставку получает и в перспективе что угодно, вплоть до члена ВЦИК. Потому—пролетарий и партбилет! А вот мне-то каково, на 60 рублей и питаться и одеваться? И... как все это глупо: необразованный и—пожалуйста, двери веюду открыты. В рабфак еще только хочет поступить, у меня, можно сказать, уроки берет,—а начальство... Я может сто ваших рабфаков кончил... и никуда. Вот она, жизнь-то новая, социалистическая!».

И падает, разбивается вдребезги мечтательно-сладкое настроение Аркадия Николаевича, морщится он, вздыхает так, что пухнет и урчит живот. Аркадия Николаевича охватывает грусть, точно кто за шею схватил и душит, душит... В сознании пролетает не совсем еще длинная лента жизни, от сегодняшних дней вглубь прожитых лет. Юность... отрочество... детство... Стоп! Не надо детства, не надо отрочества! Юность, юность подай сюда, с безоблачными днями, крылатыми мечтами о золотой будущности! Счастье! Радость! Любовь!

— Кто это пел? Ах, да... Пиночка, милый Пиночик!

Аркадий Николаевич трет пухлыми кулаками там, где полагается быть глазам, обнимает голову, раскачивается маятником, стонет и потеет...

На небе нет солнца, нет дымчатой кисели. Плотная темносиняя ткань окутала глухо-шумящий лес, судорожную пляску осинника. И эту ткань вдруг с треском разодрали пополам, как дерут полотнища ловкие приказчики. И точно в образовавшуюся дыру полился крупный и частый дождь.

На дворе, почти басом, бранится Елена, ворчит медведем Сергей, убирая замоченные остатки сена прямо руками, как граблями.

Аркадий Николаевич пробуждается от невеселых дум, вздыхает раз—другой, высовывается в окно и с наслаждением подставляет тоскующее тело под небесный душ.

— Бррр... Фу-у...

Он протягивает свои полные женские руки, ловит пригоршнями благодатную прохладу и плещет в лицо. Затем, не выдержав соблазна, нагишом выскакивает на двор и пляшет в лужах, фыркает и крикает, купаясь в дождевом море.

— С легким паром!—крикнули из-под навеса.

—Эге—радостно отзывается Аркадий.—Никак вы, Алексей Семеныч?

— На все сто процентов... Ну и дождь, чорт-те, у самого двора, значит, измочил! Тирру-у, ты!

— Уух... 6-брр-р... хорошо!—подплясывает Аркадий Николаевич, хлопая мокрой рукой по животу.

— Го-го-го... фу-у, будет!

Освеженный дождем и довольный приездом Алексея, забыв печали, излитые над растрепанным романом, вприпрыжку вбежал он в комнату, насухо вытерся мохнатым полотенцем. Продолжая кричать, одел пропотевшее белье и тотчас же прикрыл его срамоту рубашкой—«фантазией», снизу—темно-синими, как грозовая туча, галифе.

И вот, в ловко выглаженной руке Елены рубашке, с белоснежным воротничком и галстуком «бабочкой», в синем френче и широчайших галифе, заканчивающихся превосходными хромовыми сапогами с приятным скрипом в подошве, он почти потерял полноту, подтянулся и выглядит приятным молодым кавалером. Искусно зачесанная лысина и брызги дешевых духов из дорогого граненого флакона окончательно вернули Аркадия Николаевича на лоно его, не так уж давнишней, молодости.

## II.

Странный был этот вечер в глухих раскатах далекого грома, в розовых зарницах. Вначале пирушка, устроенная Алексеем, скленилась на славу. Кривоногий стол, казалось, гнулся под закусками, будто всю съедобную роскошь города принял он на себя.

Недаром знакомые называли Алексея лакомкой и гастрономом. Он знал, что купить и чем угостить, и теперь священнодействовал с ножом в руках, искусно вскрывая банки, бутылки, коробки. Подстать ему, Елена готовила на целом противне чуднейшую яичницу с ветчиной. А Сергей, позабыв про ружье, откуда-то раздобыл огурцов, тех соленых, сочных огурцов, без которых русский человек не выпьет одной рюмки.

— Ну, гости—хозяева, к столу, значит, пожалуйста!—Алексей откинул назад свои черные космы и решительно поднял рюмку. На лице его горело желание есть и пить. — После дождя и коммунистам выпить можно. Верно, Аркадий Николаевич?

— Перед дождем и после,—весело скаламбурил тот, чокаясь. — За ваше здоровье!

Все выпили, кроме Елены. Она, как полагается, поломалась немного, но вскоре последовала примеру, смеясь и морщась.

— Не люблю я эти коньяки и портвейны разные,—презрительно оттопырил толстую губу Сергей, запихивая в рот прямо пальцами кильку с огурцом.— Жжет и сладит—не поймешь. То ли дело водочка!..

Однако, от второй рюмки не отказался, а третью, неуклюже роняя банку с консервами, налил сам.

Потряхивая кудрявой головой, Николаев налегал на ветчину, попеременно с сыром и колбасой. Пил он мало, но зато с толком, как-то по-особенному высасывая вино через губы, сложенные трубочкой. И в эти минуты смешно было глядеть на Алексея, он вдруг выпрямлял плечи, вдохновенно отбрасывая движением головы назад волосы, багровел так, что шрам на щеке готов был брызнуть черной кровью, и тянул вино не спеша, щурясь и прищелкивая языком.

«Как пиявка сосет,—брезгливо подумал Аркадий Николаевич, начиная немного хмелеть,—черная пиявка... ха!».

— Аппетитно вы пьете, Алексей Семенович, аж завидно!— съязвил он, хихикая.

— Не пью, а выпиваю, милейший друг,—резво ответил тот, облюбовывая кусок сыра.— Грешный человек, люблю поесть и толику, значит... того... Бude, поголодовал... Между прочим, добыл в городе начальную физику и задачник.

— В университет целите?—подразнил Аркадий Николаевич. Хмель странно подействовал на него сегодня. Вместо благодушия и веселости он ощущал какую-то злость. В профессора... кислых щей! Ха-ха-ха!..

— Да, милейший товарищ, под старость лет дурить начинаю. Куда бы мне учиться, тридцать стукнуло, а вот хочется, терпежу нет.

— Тебя, Лексей Семеныч, женить надо,—ввязалась в разговор Елена, облизывая перепачканные в яичнице губы.— Ох, и научила б тебя жена уму-разуму!

— Поздно, Елена Петровна, к бабе не привыкнуть, баб я, как огня, боюсь!—пошутил Алексей.

— Ну-у?—всерьез удивился Сергей.— Неужто вправду баб боишься, товарищ Алексей? Эх-ма, я вот только лешего боюсь, а больше ни чорта! Медведя не боюсь, а лешего...

У Елены вздрогнули и сбежались на переносье выцветшие брови.

— Молчи ты со своим лешим!—огрызнулась она на мужа.— Сам леший, уж налокался...

Сергей сконфуженно посторонился от жены, съежился, и будто стал меньше, но не уступал.

— Нет, постой!—попросил он миролюбивым тоном, ловя большими телячьими глазами встревоженный взгляд жены и укоризненно мигая, дескать, хоть при людях не срами.— Нет,

постой... Ей-богу, боюсь лешего! Он, сволота, все поровит меня в лесу заплутать. Хи-итрый! Позавчера, веришь ли, товарищ Алексей, за Козьим овражком водил! На утят я пошел. Дай, думаю, пьмаю на жаркое... И пошел... А он по бочагам и давай покрякивать, что всамделишная утица. Я думаю—выводок—ай-да... Хожу-хожу—нет утят и нет, а все крикает. Ухнул в бочаг по пазухи, тут только и догадался—его дело, больше никому... Эх-ма, а и хорошо же, братцы, в лесу! Выйдешь это раным-ранешенько, солнышко только встает, чуть-чуть теплится, как лампадка. А пичужки-канашки так и чирикают, так и чирикают. Посмотришь это на солнышко, птичек послушаешь, по траве рукой проведешь, а роса-то—лед серебряный, и так станет на душе легко да весело—сам запоешь, как птица, ей-богу!

— Молчи, кому антиресны твои рассказы? Поди спать, пьяница!—набросилась снова Елена, невольно жалея, что муж сегодня не ушел в лес.

— Обожди,—заступился Алексей,—пусть говорит. Я люблю лес, деревню люблю, Говори, Сергей!

Сторож нерешительно посмотрел на свою сердитую супругу,—такую маленькую и хрупкую,—выпрямился, пошевелил могучими руками, точно показывая, что он не боится ее, и продолжал с полупьяным восторженным откровением.

— Да... с ружьедом, это, пойдешь. Всего-на-всего заряд у тебя может и есть. Да не в этом дело. Тыщу зарядов имей—стрелять не будешь. А вот, идешь, идешь, на деревья поглядываешь, будто живые они стоят. Ветерком их качает—зажелесят: ш-ши-ши-и... Дескать, тише... Ты и приляжешь, и слушаешь. Ти-ихо так станет... Ровно ничего и нет, а прислушаешься—живет все кругом, шибко так живет! И солнышко... Ну и проймет тебя не то сон, не то затмение какое, приятное распрятное. Ну и... ну и полдень, глядишь, домой пора. Да... Хорошо! Эх-ма!

Сергей дернул бородку, оперся на локти и рассмеялся добрым, задушевным смехом. Алексей тоже с удовольствием рассмеялся, рисуя на столе, в лужице пролитого вина, какие-то фантастические деревья. Елена открыла рот, хотела, верно, опять бранить мужа, но раздумала и вздохнула, поправляя сбившийся на голове платок.

— Вольготно в лесу, что и говорить... Иди-ко, Сережа, спать,—необычайно ласково предложила она.

Сергей снял со стола локти, поднялся было, потом опять сел.

— Посижу маленько. Еще рано,—кротко сказал он.

И жена вдруг не перечила, любовно пододвинула личицу.

— Ну, ешь, коли так.

— Да, товарищи, хорошо жить в деревне...—Алексей поднял глаза, бросая выводиться на столе узоры.

— Я вот тебя, Сергей, значит, понимаю отлично. Мы с тобой—мужики.

— Вы хотите сказать, что я, интеллигент, не понимаю красот природы?—обидчиво поджал губы Аркадий Николаевич.— По-озвольте!

— Не... не то я хочу сказать, мужики мы с Сергеем, я и он.

— Во-во, мужики!—заулыбался сторож.—И она мужичка, Елена-то... она тоже понимает.

— Да,—подтвердил Алексей.— Мы по-своему понимаем деревню, она нам дороже.

— Почему же она дороже вам?—делая ударение на последнем слове, тем же тенорком крикнул Аркадий Николаевич, рассердясь не в шутку.

Алексей погладил свои непокорные вихри и значительно, вкладывая какой-то особый смысл, повторил простые слова:— А потому, что мы мужики.

— И парти-ийные!—язвительно кольнул Аркадий Николаевич, в азарте оттягивая пальцем чистенький воротничок рубашки, точно он давил ему шею.— Где уж нам без портвейна...

— Я не партейный,—пожал плечами Сергей, очень довольный спором.

— Знаю, знаю... собираешься!—Аркадий полез за бутылкой и сердито нахмурился. Он выпил, пожевал сыр и вдруг громко и зло рассмеялся.

Смех не понравился Алексею, он строго спросил:

— О чем ты?

— А, так... вообще,—прикусил язык Аркадий, чувствуя себя не совсем удобно.

— А все-таки?—допытывался Алексей.

— Учителешу, поди, вспомнил,—вернула каленое словечко Елена, исправно поедая печенье.— Чучерская учительна его с ума свела!

Аркадий долго не отвечал, шурился и кусал ногти, но азарт взял свое, он, смешно волнуясь, красный, как пожарная бочка, зачастил:

— Вот что, уважаемые, товарищи граждане! Вы любите деревню, да любите... только пока в ней живете. Знаем мы: командировочку в город, партмаксимум и... поминай, как звали. Будете вот городом так же восхищаться, или еще чем. Да, да!.. Вы скажете, социалистическое строительство, партия... заветы Ильича. Бросьте! Бросьте, бросьте! На митингах про это говорите, я вам там похлопаю, а сейчас... Кому это нужно? Да мне не надо вашего социализма, дайте только власть пожить! А то судите журавля в небе... Э, да что говорить! Все люди—человеки, где живется тепло—там и дом.

— Верно,—быстро согласился Алексей,—Человек в общем и целом—подлец. И может еще долго им, значит, будет. Но, черт возьми, при чем тут социализм? Социализм-то не подлцы строят... Конечно, и в партии есть всякие... Но много ль их-то, чужак? А нас? Во-о! Я вот по себе сужу: ну, чего я



хочу? Учиться. Вот в рабфак бы поступить, значит, а потом в учителя махнуть, на курсы.

— И в город... где потеплее,—ядовито подмигнул Аркадий.

— Нет, в деревню.

— Нет, в город!

— Говорю тебе, в деревню, в школу, в самую, значит, глушь. И работнуть на славу, во-о!—Алексей мечтательно откинулся на спинку стула, заломил руки и энергично прищелкнул пальцами. Невольно посмотрел на свои пухлые руки Аркадий Николаевич и замолчал.

Алексей принялся за простывшую яичницу. Сторож с сожалением полез за кисетом, ему было жаль, что интересный спор кончился.

Аркадий, ненатурально позевывая, хотел было идти в свою комнату, но вспомнил, что не читал еще газет, привезенных из города. Он достал их у Николаева из пиджака и развернул.

— Почитаем-ка про Чемберленов!

Минут пять все молчали. Шуршали газетные полосы. Неожиданно Аркадий Николаевич щелкнул по бумаге пальцами и сказал, невольно продолжая спор.

— Ну, вот, получи и строй свой собственный социализм!

— Что?—не отрываясь от яичницы, спросил Алексей.

— Да вот, выигрыши по займу. Сто тысяч кто-то огреб... Счастье-то какое, э-эх! Вот бы мне...—От такой мысли Аркадия даже передернуло.

— Ну, не сто, а хотя бы половину, даже десять... пять тысяч! Чорт, хорошо!

К газете потянулся Сергей, за ним Елена. Они смотрели на тошу палочку с пятью нолями, напечатанную крупным, бросающимся в глаза шрифтом, и каждый по-своему воспринимал ее. Сергей, например, относился к ней недоверчиво. Он то наклонялся к газете, то отступал на шаг и, легонько покачивая головой, сдерживал дыхание, словно боялся, что дохнул он пошибче—и цифра на бумаге пропадет. Елена же, взглянув на газету, жадно раскрыла рот и зажмурилась, верно переживая в воображении невиданное счастье. А Аркадий все щелкал пальцами, восхищенно и завистливо чертыхаясь.

— Между прочим,—оторвался от яичницы Алексей,—кажется у меня есть облигация этого займа. Нешто попытать счастья, заглянуть? А вдруг—выиграл?—пошутил он.

Слова эти расхолодили Аркадия и Елену. Они презрительно расемелись, а Сергей перестал сомневаться и, поняв, что цифра действительно существует на бумаге, теперь свое недоверие перенес на Николаева.

Продолжая шутить, Алексей полез в шкаф, долго рылся в бумагах, отыскивая куда-то завалившуюся облигацию. И когда он появился, расправляя мятые углы бумажной голубой ленты, в комнате наступила выжидающая тишина.

Аркадий Николаевич, вытягивая шею, беззвучно подал газету, для чего-то встав на цыпочки.

— Посмотрим, господи благослови!—смеялся Алексей, сравнивая номера,—чем чорт не шутит? Ха-ха-ха...

Глаза его прочли обе цифры и смех оборвался. Аркадий Николаевич ясно видел, как пальцы Николаева, небрежно державшие облигацию, судорожно шевельнулись и сжали ее так щепко, что, казалось, прошли сквозь бумагу.

— Ерунда на постном масле!—свистнул Алексей и шибко тряхнул волосами.

— Что? Что?

— Да глупости... в глазах, значит, рябит. Ну-ка, прочитай номер выигрыша, в сто... в сто тысяч.

— С-сто ты... сяч!—опустился на каблучки Аркадий Николаевич и, подпрыгнув, обеими руками схватился за газету. — Что вы хотите сказать?

— Да чи-тай, говорю тебе!—Николаев побагровел и сунул ему в лицо газету.

Глотая набежавшую слюну, Аркадий прочел.

— Ну?—мог только пошевелиться языком.

— Мое.

Алексей хотел улыбнуться и не мог, на лице его застыло удивление и страх. Он вертел облигацию, складывал, раскладывал и не знал, что с ней делать.

Дрожащие пухлые руки потянулись к ней. Алексей увидал короткие, толстые пальцы с длинными начищенными ногтями. Пальцы жадно хватали воздух... Алексей вздрогнул.

— Мое!—повторил он неестественно спокойно и оттолкнув протянутые руки быстро опустил облигацию в карман.

### III.

Аркадий Николаевич тихонько плакал у себя в комнате.

— Господи, господи,—шептали его обкусанные губы, за что? За что?... Ах, за что ему такое счастье?

Он сучил мягкими руками, тискал подушку и мочил ее слезами, тяжелыми, мучительными слезами взрослого мужчины. Ах, как он сейчас ненавидел Николаева! Чего бы он не дал, чтобы все это было шуткой или сном! Но—это явь... Он выиграл сто тысяч, а Аркадий Николаевич проживет всю жизнь на несчастные рубли и никогда, никогда не будет иметь таких денег.

Голубая мятая бумажная лента... В закрытых глазах помесничего она извивается змеей, трепещет птицей, непойманной, блеснувшей на мгновение и улетевшей в неведомую даль. «Почему у меня нет такой голубой птицы? Какое право имеет Николаев быть счастливым?».

Вот завтра взойдет солнце, будет день, обычный для Аркадия Николаевича день. Он сядет за счеты и застучит ко-

стяжками, выколачивая по грошу свои несчастные какие-то шестьдесят рублей. А рядом с ним проснется богач, вчера такой же, как он, бедный человек, приветствуя день и солнце, вытащит припрятанную облигацию, плюнет на все и со смехом уедет навсегда в город, чтобы в банке, под завистливые вздохи кассира, туго набить портфель пачками новеньких, хрустящих червонцев, и жить—где угодно, как угодно, огребая счастье, подаренное случаем, какой-то единицей, нулем, простым инкчем-ным нулем...

Ах, почему Аркадий Николаевич не имеет этой облигации в сто тысяч? Даже в пятьдесят, он не жадный. Какую жизнь, какое наслаждение принесут эти деньги! Деньги... Дайте Аркадию Николаевичу денег! Проклятие! Денег, слышите, денег!

И в бешенстве он кусает подушку, колотится головой о холодное железо кровати и задыхается.

...Разбитый, по-старчески волоча ноги, идет к окну, распахивая его и в комнату проникает ночная свежесть, душистая и хмельная. Темный призрачный лес шевелится живым существом. Лес дышит ночной прохладой, ночными запахами, растет и шепчется в великом сладострастном томлении прекрасной жизни. Где-то под крышей пронзительно кричит сверчок, счастливый своим бытием, и на его зов откликается второй, третий... Летучая мышь с легким свистом пронесится мимо. В черном небе, за зубчатой стеной леса мигает зарница, как матовый, стеклянный глаз.

«Все, все живет... все наслаждается жизнью».

Аркадий Николаевич грустит на подоконнике. И невольно представляет он себе, как сейчас Николаев в своей комнате, переполненный через края счастьем, лежит, наверное, не раздевшись на кровати и мечтает о чудесном завтрашнем дне. Он страстно гладит рукой голубую бумагу, как налящую, отдающуюся женщину, быть может даже целует ее и трясется в жгучих желаниях.

«А завтра он будет иметь все, что пожелает,—думает тоскливо Аркадий и вдруг вспоминает: «Ах, да ведь он партийный! Партийным нельзя... Боже мой!». И мысль, поразительная мысль, обжигает сознание. Он так сильно вздрагивает, что сползает с узкого подоконника на пол и с бьющимся сердцем обдумывает положение.

«Ну, конечно, партия... Он не бросит партбилета, он идейный. А деньги... Как же я об этом забыл!».

Огненная волна проходит по телу, в диком смехе корчится оно и фантазия не имеет удержу...

Аркадий Николаевич вскакивает с пола, зажигает лампу, торопливо приводит в порядок платье, волосы и, выскочив в коридор, властно стучит в дверь Алексея. Он хорошо слышит, как с шумом задвигается ящик стола, звякает ключ.

— Да... Кто там?—неуверенно спрашивает Николаев.

— Это я, Алексей Семенович, откройте!

— Не заперто... входи.

Аркадий спеша дергает дверь.

Алексей растрепанный сидит за столом и курит. В комнате дымно и душно, лампа копит, но хозяин этого не замечает. Початая бутылка портвейна, остатки закусок отодвинуты в сторону. Алексей не пьет, он только курит, без передышки, зажигая папиросу за папиросой, бросая окурки в банку с консервами.

Аркадий Николаевич садится напротив. Молчит. Он не знает, с чего начать, у него немного кружится голова—в зное и дыме комнаты чувствуется, как пахнут деньги. Для храбрости наливает вина. Блага с трудом льется из горла бутылки, отвесно всунутой в стакан, и булькает глухо, точно камень, упавший в глубокий колодезь.

— Да? Ну, что?—пробуждается Алексей, встряхивая волосами.

— Я вас понимаю, Алексей Семенович,—говорит Аркадий, равнодушно разглядывая свои ногти.— Положение, действительно... гмм... глупое... Такое счастье и.. нельзя. Сто тысяч!

— Сто тысяч!—повторяет Алексей и глаза его бегут к ящику, ласкают через дерево драгоценную бумагу. Он прикуривает от лампы новую папиросу, дымит прямо в лицо почному незванному гостю.

— Сто тысяч—деньги не малые. Раз в жизни, да и то... Господи, когда это бывает? Редчайший случай! И пожалуйте... нельзя воспользоваться... своим... чистокровными.

Аркадий Николаевич умышленно делает паузу, не спеша глотает вино и ждет настроженным охотником выслеживаемую дичь. Только бы не ушла дичь по другому следу... Нет, не уйдет, место верное!

Поразительное спокойствие овладевает им. Ни один мускул не дрожит на лице, пальцы цепко обнимают стакан, и только в мозгу бьется—трепещется голубой птицей страшная мысль: «А что, если он?..».

Алексей молчит.

«Да, он не слышит... не понимает, или... притворяется непонимающим? Что-то есть». — И Аркадий бьет в упор:

— Послушайте, Алексей Семенович! Будем говорить прямо. Вы член партии и.. не имеете права на выигрыш. У вас отберут его.

Николаев ежится, щурит глаза и мнет недокуренную папиросу в банке.

— ...Но... я знаю выход. Я помогу. Вы слушайте?.. Мы сделаем так: облигация—моя. Понимаете? Получаю деньги я... и мы... поделим... пополам... по-братски..

Алексей хохочет. Ах, как долго он хохочет! Замечательная идея, конечно, можно смеяться над одураченным партби-

летом, но зачем же так долго? Аркадий Николаевич встревожен. «Неужели он?..». И сердце падает, стучит не в груди—в ногах, и зубы стучат, и пальцы о стол стучат, и весь, весь Аркадий Николаевич стучится в душу Николаева, чтобы скорей, скорей узнать ответ. И кажется ему, что тот смеется делую вечность, что он сошел с ума и сейчас набросится и задушит его. В ужасе выскакивает из-за стола, защищает шею руками, слезы заволакивают глаза; ему хочется завывать по-волчьи, смертельным воем.

А ведь смех Николаева был совсем краток. Да это и не был смех—вино в сухом горле булькало, и вот—он молчит. Его жилистая рука тянется к чужой шее... Да, нет же, совсем не к шее—рука берет снова бутылку.

Далеко-далеко, как за тысячу верст в телефоне, слышит Аркадий ответ, неумолимый, ужасный:

— Дудки! Этот номер тебе не пройдет!

«Он выйдет из партии. Как я об этом раньше не догадался. Конечно, выйдет, ведь сто тысяч...».

И, понимая, что все кончено, больше надеяться не на что, Аркадий Николаевич, поддерживая готовую лопнуть голову, тихонько пытается к двери, но ему не хочется уходить из комнаты, где лежат сто тысяч. Он ворочается и вдруг со стоном валится на пол прямо в ноги Алексею:

— Пожалейте меня!—молит он шопотом, цепляясь за алексеевы штаны.— Я... я руки на себя наложу. Подарите... Подарите мне десять, ну... пять тысяч. Ну, что вам стоит... подарите!

— Поди ты в...—плюет ему в лицо матерщинной Николаев.— Убирайся!

Он с наслаждением впивается пальцами в мягкие плечи своего помощника и плачущего, жадно и безумно просящего, выталкивает в коридор.

— Ах, мерзавец, какую дьявольщину придумал!—шепчет он, запирая дверь на крючок.—Ну и сволочь!..

В обиде он пьет вино и не хочет больше думать о выигрыше. Ему полагается, по решению партии, тысяча рублей, и прекрасно. «Больше не надо, за-глаза хватит. И то—вдруг ни с того, ни с сего—ты-ся-ча...». Алексею даже неловко, что придется без всякого труда получить такую огромную сумму.

«Да ведь это—выигрыш. Счастье!—оправдывается он.— Редчайший случай... Ну, и ладно, будет об этом, будет, будет!». Он разыскивает привезенный из города задачник и с наслаждением разрезывает книгу. «Недурно сегодня проработать еще раз дробь. Что такое числитель? Числитель—это... Да ты не знаешь? Ой, Алексей, пролетишь ты на рабфаке в тар-тарары!»

Он раскрывает задачник и первая цифра, попавшаяся на глаза, была 100.000. Рассматривая жиденькие нули и совсем крохотную единицу, он удивился, как ничтожна эта цифра на бумаге. «А тысяча еще меньше!—подумал он, написал ее, сравнил с первой и поморщился. Впадая в оцепенение, он чертил

палочки и приставлял к ним по три нуля. «Тысяча, еще тысяча, еще... в ста тысячах их—сто». И он исчеркал единицами с тремя нулями весь лист, потом зачеркнул аккуратно девяносто девять,—в углу листа осталась сиротливая, никчемная тысяча.

— А ведь маловато, пожалуй!—шопотом сказал он, прищуриваясь.— Эвона, сколько придется отдать!».

И в жалости он прибавил в угол листа еще тысячу. Теперь он выводит двойки с тремя нулями. У него заныла рука, выписывая в ровный столбик сорок девять двоек.

«Сорок девять отдать,—одну себе». — Он смерял столбик двоек карандашом,—карандаша не хватило, прикинул на эту же мерку двойку из угла листа и снова поразился.

— Да ведь как же это мало! Совсем, совсем, значит, мало!

В сильной обиде на кого-то, он сердито зачеркнул все цифры, подумал и уверенно вывел: 10.000. Снова зачеркнул, и вдруг, волнуясь и торопясь, поставил пятьдесят тысяч.

— Половина мне и половина... им... За что им половину?—шипит он в гневе.— Ну, за что, скажите мне на милость?!

Он достает из стола чудеснейшую облигацию, поспешно кладет ее в бумажник, а бумажник—за пазуху, к горячему голому телу. От прикосновения холодной, скользкой кожи—по телу пробегает дрожь.

— Мое!—шепчет Алексей и показывает фигу безмолвной двери.— Не дам, никому не дам!

И смеется.

В пустой комнате смех ужасен, у Алексея поднимаются и опускаются плечи, точно он пляшет «камаринского», а на лице, вместо радости,—гримаса полузадушенного человека.

— Ха-ха-ха... Ха-ха-ха...

В лесу—ответственный хохот, с дикими всхлипами:

— Их-ха-ха... их!

— Филин, это филин,—говорит сам себе Алексей, по чему-то не верит этому, чего-то боится и достает револьвер. Его охватывает страх и жажда движений. Он ходит по комнате, вокруг стола и гладит обеими руками бумажник под рубашкой. «Неужели придется расстаться с деньгами только потому, что я коммунист? Какое право имеет партия лишать меня неожиданного счастья?.. Если рабочий выиграет или еще там кто—беспартийный—им можно, а нам нельзя? Да где же справедливость?».

Алексей видит волком партии. В белой, точно нежилой комнате, залитой солнечными лучами, сидит хмурый Кашип.

— Товарищ Николаев, сдай облигацию в финотдел. Можешь получить только одну тысячу... А лучше сдай все.

— Нет, нет! Не отдам! Не имеете права. Я хочу... Ты хромой, тебе самому хочется этих денег. На-ка, выкуси! Не отдам!—шепчет Алексей, хитро шурясь и показывая язык.— Не отдам!

И снова мучается, притворяется удивленным. «Почему мне нельзя иметь сто тысяч? Не понимаю!».

В темном углу, на сломанном стуле певелится хромой Кашин. Грозит длинным кривым пальцем.

— Ты отлично понимаешь, не прикидывайся. Со ста тысячами в кармане не можешь быть коммуниста. Ты—собственник, больше того, ты—капиталист!

— Какой же я капиталист?—пожимает плечами Алексей, и в сумасшедшей игре ловит ошибку. — Мотивировочка неудачная, товарищ Антон! Я совсем не думаю эксплуатировать никаких средств производства! Я буду только жить... жить!

— Не трудящийся, да не ест.

— Ах, вот что! Даю честное коммунистическое слово—буду трудиться. Милый, не трожь деньги, значит, буду трудиться! Пожалей меня, Антон... Нет?.. У-у, проклятый урод, убирайся тогда к чорту! Без тебя обойдемся.

Николаев вдруг чувствует, что никогда не расстанется с чудесно-попавшими в его руки деньгами. И в безумном желании он ищет выхода. В бешеном вихре мыслей рождаются самые отвратительные предложения.

— Утаить от партии? Согласиться с ним... поделить пополам, по-братски... Что? Пополам? Значит мне только пятьдесят тысяч? Нет! Мои, все мои... Не отдам!

— Подать заявление в губКК? Просить разрешения оставить все деньги при себе.

В углу хихикает Кашин: — Дурак! Так и разрешат, держи карман!

— Тогда... заткнуть им рот взяткой!—бесится Алексей, царапая голову.

— А? Десять тыщенок не кот начихал! Кто откажется?

— Откажутся, и ты пойдешь под суд,—неумолим призрачный Кашин.

— Отлично... Ну, а разве я не могу, значит, скрыть от партии выигрыш? Ха-ха-а!—завертелся Алексей по комнате. Он прижимает бумажник к сердцу, баюкает его со страстной нежностью.

— Да, да, дружок,—шепчет он,—получу под чужой фамилией, уеду и—концы в воду. Видал? Ну, что, крыть-то нечем?

Горят в углу по-волчьи глаза. Их много, вот и на улице они через окошко просвечиваются голодной волчьей стаей, в щели под дверью блестят, на стенах ползают пауками. Нет, не скроешься от проклятых глаз. Найдут! Разыщут!

— Выйти из партии?..

Николаев смотрит в зеркало. Какой он страшный!

— Ты с ума сходишь, Алексей! Выйти из партии, тебе?... Алексей, неужели ты это сделаешь?

В мутном зеркале чужое, скривленное судорогой лицо.— Ты ли это, Алексей, что ты говоришь?

«Нет, постой... Ну, допустим на минуту, что так. Я выхожу из партии. Что дальше?.. О-о! И ты смеешь еще спрашивать, что дальше! Все, все, что угодно...»

Прежде всего, он будет учиться. Рабфак—это уже ерунда. Он пройдет его на дому с лучшими учителями. ВУЗ—вот он куда идет и будет там. Он изучит обязательно иностранные языки и махнет вокруг света. Все уголки земного шара объедит он—денег хватит. Сто тысяч... Если по пять в год проживать, так и то на двадцать лет хватит. А ведь можно свободные деньги положить в сберкассу. Нет, лучше купить сертификаты, они, кажется, дают десять годовых. Сколько это будет со ста тысяч?.. Десять! Чорт возьми, тогда выходит можно жить на проценты всю жизнь, а сто тысяч останутся целехоньки. Вот штука! Значит, он может проживать в год по десяти тысяч без всякого ущерба. Ну, и поест же он! Чорт возьми, и поест же он!..

«Для волости куплю трактор, такая уж мода, ничего не попишешь. Сколько это будет стоить? Две тысячи. Гмм... Ну, что же я не жадный, пожалуйста, пользуйтесь... Недурно бы еще школу построить и клуб. Хороший, просторный клуб с буфетом. Можно моего имени, разрешаю, пусть... Непременно надо что нибудь пожертвовать исполкому, как же—обида. Извольте: десять тысяч на культурное строительство. Одну минутку... де-сять тысяч... трактор... школа... клуб... Эге, это уже грабеж, разлюбезные товарищи! Я не миллионер, всего-навсего, какие-то там плевые сто тысяч. Ну, так и быть—получайте пять... то-есть три. И клуб того... Собственно зачем клуб? Слишком роскошно. Можно в школе расчудесно, значит, устроить красный уголок. Так и сделаем, отлично... И ни копейки, больше никому ни копейки! Самому надо жить... хорошо жить, чорт возьми!..»

Алексей очнулся. Он сидит за столом, перед ним—лист бумаги. В руке—карандаш. «Что я делаю?—ужаснулся он.— Что я делаю?».—«А ты попробуй, только попробуй»,—нашептывает кто-то на ухо.—«Опять Кашин! Да будь ты проклят! Ты соблазняешь, ты хочешь меня погубить? Я убью тебя, несчастный урод!»—он хватает револьвер, взводит курок и крадется по комнате, затаив дыхание...

Снова оглушительно хохочет в лесу филин. Николаев вытирает мокрый лоб. Он смотрится в зеркало и громко говорит себе:

— Алексей, ты рехнулся! Алексей, ложись спать!

— Не зевай. Упустишь счастье, Да, ну же, не зевай!

«Ох, громко... Он всех разбудит! Кто это, дьявольщина, мешает мне?!..»

Как ребенок обыскивает комнату, шарит по углам, заглядывает под стол. Чего он ищет?.. Иголку... Да, именно, иголку, пришить пуговицу к брюкам.

Никого нет, никто не кричит,—это он сам.



— Тише, Алексей!

А бумага на столе притягивает, просит, молит...

«Я только попробую, только попробую—уверяет себя Алексей,—она блестит, как солнце, мне больно глядеть. Я напишу и брошу».

И он пишет, неуверенно, чужим, разбегающимся почерком:

В райком ВКП(б)

Прошу исключить меня из партии...

«И все. Ничего не объяснять. Кому какое дело? Исключить—и точка... И подпись. Смелее, товарищ Николаев!»

«Теперь бросить, будет шутка!—Но он не бросает, долго рассматривает лист, проверяет каждую букву и почему-то заботится о грамматике. Исключить... эс или ээ... как там?».

Бумага превращается в гиру, тяжело держать, немеют пальцы и вены шевелятся синими червяками. Лист тихо, как драгоценный груз, опускается на стол.

Алексей с наслаждением потягивается, будто после длительного, приятного сна, и, потянувшись, прищелкнув пальцами, становится спокойным. Не спеша наливает в стакан вино, сосет его. Влага ласкает сухой язык.

Тухлая маленькая комната начинает угнетать. Хочется простора для ног, такого же необъятного, как мечты. Бессознательно он приближается к окну. По стеклам, сочится густая тьма. Она манит Алексея и в то же время отталкивает своей таинственностью. Чудится рука, царапающая раму длинными скрюченными пальцами.

«Кашин, проклятый Кашин!».

Он отводит глаза от окна и продолжает ходить по комнате. А тьма манит, приветливо машет зарницами и—нет сил противиться ей.

«Чего я боюсь, в лесу сейчас никого нет. Да и револьвер можно взять... Пойду прогуляюсь».

Чтобы отрезать себе отступление, он торопливо раскрывает окно, взбирается на подоконник и, зажмурившись, с руками, вытянутыми вперед, как в воду, ныряет во тьму. Несколько минут он неподвижно сидит на траве под окном и прислушивается.

Его окружает тишина, натянутая струной, готовая каждую секунду зазвенеть непонятными ночными звуками. По мере того, как зрение свыкается с темнотой, на ней, как на фотографической пластинке, проявляется лес, удивительно густой и высокий. Бледные, вспыхивающие где-то далеко, зарницы, на миг освещают тяжелые, низкие облака. Ветра нет, но кажется, что воздух, сухой и горячий, струится.

«Гроза снова собирается,—определяет Алексей и ему хочется дождя, молнии, грома, хочется бешеного ветра, чтобы

в вое и свисте заглушить биение непокорного сердца, в дождевом ливне охладить раскалившуюся голову.

Осторожно ступая, идет по знакомой дороге, и когда черная стена раздвигается и он входит в лес, как в прохладную пещеру, легко вздыхает, закрывает глаза, так как все равно им ничего не видно, и вслепую, с наслаждением движется вперед, снова и снова рассказывая себе будущее, прекрасное, как сказка.

#### IV.

От сторожки, с сеновала, белая тень скользит по двору. Мимо плетня, шурша сухим сеном, она приближается к розовому окну Николаева и жадно разглядывает пустую комнату. Хорошо бы погладить черные кудри, не знающие женской руки, запутать в них пальцы и прижавшись к длинному худощавому телу—замучить его пестуленными ласками. Он подарит ей красивое платье, он теперь такой богатый!

Только слово, только один приглашающий взгляд и она позабудет дверь в комнату рядом, расцветет может быть неподдельной, поздней, опустошающей любовью... Да нет этого слова, нет взгляда, только смех и шутки. Он ни разу не посмотрел на нее, как на женщину, гордец!

Чадит лампа на столе и в открытое окно льет тусклый свет, как помон. Белая тень скользит дальше, скрипит лесенкой черного хода и во мраке, когда в глазах дрожат разноцветные круги, привычно обходит мешки и кадки, без шума, чуть приподняв за скобу, отворяет дверь.

— Елена, это ты?—шопотом спрашивает Аркадий Николаевич.— Поди сюда, Елена. Почему ты так долго не приходила?

Он сидит, одетый на кровати, по-турецки подогнув под себя крестом ноги. Грубо и жадно хватая Елену за голые плечи, роняет поперек постели, ищет губы, и найдя их, влажные и покорные по обыкновению, пьет знакомое наслаждение. Он стонет, скрипит зубами, желая всем существом продлить приятный миг и, не продлив, в изнеможении вяло потягивается.

— Какой ты, господи...—в удовлетворенном смехе шепчет Елена, гладит редкие, потные волосы, близко склонив лицо.

Аркадий Николаевич видит ее мерцающие глаза и ему вдруг кажется, что они голубеют, голубеет лицо, плечи, руки,—вся Елена гибкой, голубой птицей трепещется на кровати. И он, в приступе новой жадности ловит эту птицу и с мыслью такой простой, народившейся неизвестно когда, прижимает голос, еще неуспевшее остыть тело.

— Елена, ты хочешь быть богатой? Ну, конечно, хочешь, а?.. Сто тысяч, Елена...

— Еще бы, худо ли... счастливцев!

Она крутит жесткие и лишние волосы Аркадия и воображает другие, длинные и мягкие, в которых тонет рука.

— Он счастливец? Нет, Елена, мы будем счастливы, не он... Елена, а?

И не давая ей опомниться, в судороге сладостных желаний, бормочет: — Елена, мы будем счастливы! Мы, мы... Сто тысяч... Я утоплю тебя в наслаждениях! Ты будешь царицей! Самой красивой, самой дорогой... Ты узнаешь прелесть жизни, настоящей волшебной жизни. Все, все будет у тебя: платья, драгоценности, чудная мебель, вино... Все у твоих ног, Елена... Царица, моя царица!

Ослепленный неповторимым сновидением, чувствуя его каждым кусочком своего жадного тела, путая грезы и явь, Аркадий Николаевич ласкает Елену, целует грудь, руки, рубаху, пропахнутую потом, и подобно художнику, вдруг открывшему долгожданное сочетание красок, лихорадочно набрасывает дивную картину.

— Мы уедем за границу. Мы будем жить у моря, в зеленой, вечно солнечной стране. Голубое, бесконечное море, золотой песок... и мы, в купальных костюмах, с вином и друзьями. У тебя... собачка, да-да, маленькая белая мохнатая собачка... Ты ее дразнишь, и я дразню, и мы смеемся, купаемся в парной воде... А потом нас ожидает авто... Мы мчимся по улицам города... Кафе... вино... музыка... Царица, счастье мое, радость!

Елене сдавило грудь, Аркадий навалился на нее всей тяжестью, ей трудно дышать, но вместо того, чтобы освободиться, она еще больше прижимает к себе махнутую мужскую грудь, полный мягкий живот и, задыхаясь, слушает шопот сказки. Как далека сейчас лесная сторожка, и как противна она! И в ней жила Елена, в холщевой рубахе, с осколком зеркала на прокопченной, заплесневелой стене... Да Елена ли там жила? Она ли теперь шуршит шелком, купается в море, вине, в музыке? У ней ли кружевные панталоны, точь-в-точь, как у залесской попады? Правда ли это?

Сон... Она спит с Сергеем на сеновале («Да, Сергей, что же с ним будет?») и ей снится дивный сон. Музыка... золото... смех... «Дом бы купить, корову, лошадь... Ах, как хорошо!—думает Елена,—не просыпаться, жить этим сном, умирать во сне!».

— Ну, говори, ну, говори же, милый! Еще, еще расскажи... все, все. Как мы будем жить?

И снова, и снова Аркадий Николаевич рассказывает... нет, не рассказывает—поет песню.

Потом они немного молчат, но и в молчании кжно глядят друг друга. Елена перебирает в памяти прошлое, и вздрагивает.

— А Сергей? Ты забыл Сергея?

— Ши-шшии... Дура! Разве можно так громко?

— Да ведь я...

— За-молчи!—бесится Аркадий Николаевич и злобно тычет ее голову в подушку. Елена покорно затихает. У ней саднеет щека, верно Аркадий расцарапал ногтем.

— Сергей, ну что Сергей?—сердито спрашивает он, подбирая под себя ноги.— Понимаешь? Уж раз решилась—значит решилась. Ну?

Елена сползает с постели, одевает рубаху. Аркадий Николаевич трясучими руками помогает ей, торопит.

— Скорей, скорей... опоздаем!

Когда она отворяет дверь, он целует Елену, крестит и шепчет на ухо:— Самый острый бери... слышишь?

— Ладно,—ежится Елена и медлит.— А может ножик... лучше?

— Топор, говорю тебе, топор... Да иди же ты, господи!

На дворе прежняя тишина. Как-будто стало еще темнее. Духота застыла в воздухе, это не ночь—жаркий, сонный день. Но где же солнце? Елене холодно, она дрожит, и ей хочется солнца. Она обнимает голые плечи руками крест-на-крест и вяло продвигается мимо плетня. Сочно хрустит валежник. Елене неохота ступать осторожно, противны малейшие усилия.

«Одеть бы сейчас шубу и уснуть, вот тут же!»—думает она и входит в полосу света. Окно комнаты Алексея раскрыто, попрежнему на столе коптит одинокая лампа. И освещенное окно точно обжигает Елену, она корчится, неожиданно пропадает холод, горячее тело пружинится, гибко гнется, ноги легко и неслышно скользят по траве.

— Топор... самый острый!—шепчет Елена и жадно смеется.

Направо—сторожка, там в сенях, за ушатом лежит топор, прямо—сеновал, и там... Что там? Елену тянет к сеновалу, ей кажется, она там что-то забыла.

«Юбку забыла—вспоминает она—что же это я без юбки».

Спеша идет прямо, и на пороге с размаху падает на Сергея.

— Ты где была?—громко спрашивает он, загоразивая ход, и ловит руками.

Она молчит, хочет убежать, но Сергей уже поймал ее за волосы:—Изобью!

Рукав его рубахи коснулся щеки и растревожил дарашину.

— Ах!—радуется Елена. Теперь она вспомнила, почему ей хотелось на сеновал.

— Бей, бей меня, Сергей!—просит она.— Да ну же, бей!

Скрутив волосы, он с силой дергает, Елена валится ему в ноги и смеется. Он молча бьет ладонью, как доской, по плечам, по спине, не спеша, размеренно, словно рубит дрова. Жена крутится в погах, подставляет под удары голову, стонет.

— По щеке... по щеке ударь... Сереженька! Богатые бу... ох!.. дем!

«Спойл»—догадывается Сергей и перестает бить.

Елена обнимает его за ноги, целует штанину.

— Убьем!—в испугении бормочет она—Аркашку убьем и... его... богатые... сто тысяч!

— Ты, что?..—спрашивает Сергей, заглядывая в чужие, круглые глаза, и, не договаривая, обрывает.

— Слушай, слушай... Да садись ко мне,—тянет за штанину Елена.

Сергею кажется, что он устал и ему действительно хочется спать,—и он садится с несвойственной ему торопливостью.

## V.

Светает. Лиловые тучи сдвинулись на запад. Чуть обнажив зеленоватое лицо, восток робко красится кармином.

Из окна тянет свежестью. Алексею немного холодно, хорошо бы закрыть окно, да лень шевельнуться. Он устал от ходьбы по лесу, клонит в сон. Сами собой вытягиваются ноги, истрепанное за ночь тело чувствует себя удобно даже на жестком стуле и только затылок никак не может угнестись. Рядом кровать соблазнительно белеет мягкой подушкой.

— Разве лечь?—спрашивает себя Алексей и тотчас же отрицательно качает головой. Нет, он сегодня будет бодрствовать. Надо еще раз передумать свое необыкновенное положение, спокойно и здраво. Довольно глупить, время идет. Алексей взрослый человек, видавший виды: спокойствие и выдержка—главное.

Итак, он выиграл сто тысяч. Как коммунист, он не имеет на них право, как человек, он с ними не хочет расстаться. Значит, нужно искать выход. Или—или. А может быть компромисс?

— Стоп, товарищ! Прежде всего обсудим крайности: или—или. Первое или...

В дверь стучат. Николаев лениво прислушивается. «Опять Аркадий—думает он и морщится.— Как он мне надоел! Подарить ему... тысячу. Да, тысячу, чтобы отвязался».

И небрежно приняв это решение, сладко зевает.

— Ну?

Под нерешительной рукой дверь скрипит, Алексей снисходительно ободряет:

— Входи, входи...

Дверь, побелевшая на рассвете, поддается назад и на ней отчетливо выступает черный ствол ружья.

— А-а!—в бешенстве вскрикивает Николаев, догадавшись. Какая-то сила подбрасывает его со стула и рука моментально находит скользкий наган.

— Руки вверх! Руки вверх, сволочь! Застрелю!!!

Ружейный ствол качается в двери.

— Товарищ Алексей, это я...

— Сергей...—Николаев не вдруг опускает револьвер, переводит дыхание, он чувствует, как неприятная судорога свела ноги.

— Сергей...—говорит он тихо и вдруг опять кричит: — Брось ружье! Зачем ты с ружьем?!

Сергей неторопливо ставит двустволку в угол и горбаты плечи идет на Алексея.

— Ты, смотри,—говорит он строго,—убить можешь!

— Могу я...—Николаев неловко прячет наган и для чего-то добавляет:— он у меня заряженный.

Торопится.

— Вина хочешь, Сергей? Ты извини... А вина выпьешь, да?

Подает со стола початую бутылку.

— Вали из горлышка, а?

У Сергея не клеится цыгарка, он рассыпал махорку и начинает снова вертеть бумагу.

— Вот папиросы, пожалуйста, кур!

Сергей молчит и не убирает кيسета. Он смотрит в окно на розовеющие верхушки берез и о чем-то думает, он, верно, не слышит Николаева.

«И пусть... Какой он хороший!»—Алексей точно впервые замечает широко скуластое лицо, большие добрые глаза. Движения длинных волосатых рук неторопливы, спокойствие разлито по всей лошадиной спине, и ноги, обутые в опорки, расставлены по-солдатски твердо, пятка к пятке.

«Какой он большой и хороший!»—радуется Алексей. — Я его возьму с собой. Будем вместе ходить на охоту».

Сергей выкурил цыгарку и оторвался от окна. Неловко кашляя и разглядывая пол, говорит глухо:

— Товарищ Николаев, уезжай ты отсюда от греха... Воронка-то я оседлал.

Алексей встревожен и ничего не понимает. Пусть товарищ Сергей выскажется пояснее. Какой грех, и зачем надо уезжать? Ну, что же он медлит?... Ах, вот как... так, так... А как узнала жена Сергея?

— Не говори, понимаю: он предлагал ей... Что?... Ты запер его в кладовку?

Почему Алексей не бесится, ведь его хотели убить? Алексей, что с тобой? Тебе хочется плакать? Товарищ, возьми себя в руки, ведь Сергей все видит!

Сергей отворачивается, он ничего не видит. У Николаева насморк. Николаев прочищает нос и глаза, при насморке глаза всегда слезятся.

— Сергей, посоветуй, что мне делать?—тоскует он. — Я с ума сошел!..

Он достает из-за пазухи горячий бумажник и с ненавистью разглядывает мятую облигацию.

— Сергей!—кричит он вдруг обрадовавшись, и спеша, чтобы не передумать, зажмурившись, ищет его руки. — Возьми себе... дарю... Ей-богу! Бери, значит, бери, скорей!

— Избави бог!—отступает сторож, засовывая руки глубже в карманы штанов.

— Что ты, товарищ Николаев!

Он все ищет рук, и тогда сторож толкает его плечом.

— Да уезжай ты, в самом деле, к черту!

Снова Алексей прячет облигацию в бумажник и машинально засовывает его под рубаху. Усталый он бродит по комнате, как слепой, натываясь на стол. Тушит ненужную лампу, вытирая запачканные кофотью пальцы белым листом бумаги.

— Что делать, что делать?—шепчет он, убирая голову в плечи и хрустя пальцами.

— Пойдем к нему,—говорит он, наконец, сторожу.— Не в суд же подавать, в самом деле... поговорим, выясним.

Волоча нестигающиеся в коленках ноги, он открывает дверь. Сергей идет за ним, подбирая по дороге ружье. Они спускаются с крыльца: Алексей впереди, Сергей—сзади.

На дворе совсем светло. Сквозь рябую изгородь берез igraют первые лучи солнца, они золотят затылок лесничего, и Сергею явственно видно, как торчат непокорные, красноватые, словно тонкая медная проволока, волосинки на макушке. Приходит смешная мысль—поднять ствол ружья до этих волосинок. Сергею кажется, что он желает только знать, что будет тогда с волосинками.

Он поднимает ружье, ищет указательным пальцем спуск...

На пустоши пронзительно и задорно крикает утка.

«Выводок... сходить уж надо»—решает Сергей и видит себя в лесу. Он лежит под раскорякой—березой в ослепительно солнечный день и по рукаву его рубахи ползет рыжая божья коровка. Сергей опускает ружье и обгоняет Николаева.

— На-ка, поподержи,—сует он двустволку,—я... ключи достану.

Они стоят у кладовки. Алексей видит в просветы берез, как встает кровавое солнце. Причудливая груда багровых облаков ему кажется рваной, дымящейся раной. Где он видел такую смертельную рану?.. Ах, да...—ординарец, на колючаковском фронте. Ему вырезали на груди звезду и она расплзлась вот такой же рваной дырой.

— Кашин, а я знаю, что сделать с облигацией...—задумчиво говорит Алексей, и окликает сторожа.

— Отпирай. И веди... и Елену... ко мне в комнату,

Он возвращается, в шкафу ищет свечку. Она была здесь, почти нетронутая свечка. Где же она? Ее нарочно спрятали, чтобы не дать Алексею возможности выполнить план свой? Отлично. У него есть чудеснейшие спички, целый коробок!

Достаёт спички, любуется и кладет на стол, рядом с револьвером.

Первым приходит Аркадий Николаевич, босой, лицо его серое, мятое, как облигация, которую сжимает в кулаке Николаев. Аркадий щурит бегающие глаза и зевает.

— Этот пьяный дурак запер меня... Городит какую-то чепуху. Что случилось?

«Хитрый... прикидывается,—брезгливо думает Алексей. Но ему не обидно. «Ну, да так и надо. Ничего не было. Просто пьяный Сергей запер—и все». Он предлагает Аркадию Николаевичу выпить.

— С удовольствием, в горле такая дрянь... Но, товарищ Алексей Семенович, это же чорт знает, что такое... меня заперли!

— Наплевать... Пейте!

Однако, Аркадию Николаевичу выпить не удается. Входит сторож с женой. Елена спокойна, в чулане, где она сидела взаперти, было очень холодно и страшно, а здесь тепло. А муж еще сказал, что Николаев ничего не знает, значит—все, что было—сон, нехороший, пьяный сон.

Аркадий Николаевич никак не может налить себе вина, пальцы не держат бутылку.

— После... я после выпью,—бормочет он и отходит к окну.

За стеклом, загаженным мухами, уныло качаются кривые осины, на дороге в лошадином помете лениво роятся куры,—все скучно и обыденно.

— Вот... будьте... свидетелями,—медленно выдавливая слова Алексей, сидя за столом; похоже, что ему не хочется говорить. Он зажигает спичку и разжимает кулак. Голубую скомканную бумажку подносит к огню.

Аркадию Николаевичу слепит глаза, он жмурится—так больно глядеть на огонь. Он хочет бежать от огня и делает движение.

— Назад!—внятно выговаривает Алексей, бросая горящую спичку.

Трогает наган.

— Понятно?

Аркадий Николаевич прижимается к стене и опускает вздрагивающие веки.

Алексей зажигает новую спичку и болезненно сморщившись сует угол облигации в трепетный розовый язычок. Бумага на миг чернеет и вспыхивает. Николаеву чудится пожар. Он обжигает пальцы.

Сдерживая боль, следит за огнем и видит, как пропадают на облигации нули, двойки, пятерки... И ему приятно, что они пропадают, даже боль приятна, точно через эту боль он получает чуть не потерянное спокойствие.

Возле единицы огонь на миг задерживается. Алексей смотрит на единицу, и в голову приходит простая мысль, что, пожалуй, и тысяча рублей будет здорово кстати. Он радуется и, крепко сжимая оставшийся кусок облигации, вдруг свободной рукой тушит огонь...



## В НОВОМ КЛУБЕ

ИЗ ПОЭМЫ „МИР ДВОРЦАМ, БОЙ ХИЖИНАМ“

По комнатам клубным весна разлита...  
 В бравурном, ликующем звоне,  
 Бетховен идет, подымая литавр  
 Своих величавых симфоний...  
 И стены, и окна, и люди цветут,  
 Все жизнью и смыслом объято...  
 «Да здравствует коммунистический труд!»—  
 Горит на багровых плакатах...  
 И клуб загорится бутонами люстр  
 Восторженно, ярко и спело,  
 Когда в него дружной семьей войдут  
 Строители славного дела...

\* \* \*

Не перестанут в горении слов  
 Радость и солнце глаза лить...  
 Оранжевей рук и голов  
 Пестреют просторные залы...  
 Во власти Бетховена зал голубой,  
 Простые рабочие речи:  
 — Илья Сергееч! Мой дорогой!  
 Сегодня счастливейший вечер.  
 — А зданье на славу! В социализм  
 Идем вот, покоя не зная.  
 — А ты в производстве? Отличная жизнь!  
 — Ну, как поживает «сквозная»?

\* \* \*

Сбирая сил горячих урожаи,  
 Под крепким взмахом ленинской руки,  
 На страже дней стальными сторожами  
 Стоят рабочие—большевики.  
 Я всегда большевистскою думой горел,  
 Если жизнь заставляла быть стойким:  
 — Что бы Ленин сказал о весне наших дел,  
 Об ударах невиданной стройки?  
 И горю этой думой сильнее и сильнее,

Вместе с жизнью в ударном строю я:  
— Как бы Ленин взглянул  
На размах наших дней  
И на молодость нашу вторую?

\* \* \*

Гордо возносит  
Советский кирпич  
Свое окрыленное знамя...  
Не умер! Не умер!  
Не умер Ильич—  
Он вечный и доблестный с нами.  
Он всюду, где есть большевистский порыв,  
Где есть большевистская сметка,  
Он ликвидирует с нами прорыв  
В гуде фронтов пятилетки.  
Крепче рабочие нервы!..  
Силу, товарищ, умножь,  
Как умножал ее первый,  
Славный ударник и вождь!

ИВАПП

## И НЕТ У НАС ПОЩАДЫ...

И в эти дни, когда дымит не порох,—  
 А стройки пыль висит над пустырем,—  
 Иной «войка» тащит жалоб ворох:  
 — Назад! Назад!  
 Без стройки проживем!  
 Да, это он, базарным анекдотом  
 Отшлифовав кулацкие клыки,  
 Расходует, как будто ненароком,  
 Свой глупый пыл на подлые смешки:  
 — Закусывай, не чванься, пятилеткой...  
 Попал в лишенцы хлеб... Хи-хи... Ха-ха...  
 К столбу позорному его прибейте крепко  
 Гвоздями беспощадного стиха!  
 Врагу ножом не выскоблить пощады.  
 И не было ее у нас тогда,  
 Когда четверкой хлеба были рады  
 Рабочих задушить голодные года.  
 И все ж втройне голодному Поволжью  
 Сумели выкроить еще паек.  
 К чему же улюлюканьем и ложью  
 Наш враг на пятилетку приналег?..  
 Сухие ветры стынут за Турксибом,  
 «Бредовым» планом выточен Сельмаш.  
 За все, что строим,—буйное спасибо  
 И кровь до капли разве не отдашь?  
 Победам нашей воли от колхозов  
 Несут колосья ленинский салют.  
 И над последнею полей угрозой  
 Свирепую отходную поют.

## ПЕРВАЯ УДАРНАЯ

Над окраинной полощется зари шаль.  
 Скоро пять.  
 На фабрику прошла третья смена.  
 Тишина. Ариша убрала бутылки со стола.  
 На столе бесхвостая селедка,  
 Крошки хлеба и коробка шпрот.  
 Спит Егоров Сенька...  
 А завод как?  
 Разве не пойдешь ты на завод?  
 А не ты ль (педавно это было)  
 Сбирал ударную из нас?  
 Мь, тебя назвали бригадиром:  
 Паренек, глядим, не лоботряс.  
 И взялись мы крепко за работу.  
 Не сдают упругие резцы.  
 Выходили вместе за ворота  
 Сыновья и старые отцы.  
 «Первая ударная»,  
 Слова лишь!  
 Вы, на деле покажите прыть!..  
 Отвечали каждому: Товарищ!  
 На ладонях не от слов бугры.  
 Мы не только на словах задорны.  
 Вот—Еленка!  
 Токарь—поискать!  
 Ею перевыполнены нормы.  
 К заграничной выточка близка.  
 Браком упрекни ее, попробуй.  
 А тебя, вот, девка упрекнет.  
 Все припомнит:  
 Как с соседом оба  
 Пьяными являлись на завод.  
 Как резцы ломали с перепоя.  
 Скажите, кто честнее и прямей:  
 Вы на Сеньку посмотрите, стоит  
 Он того, чтоб брать с него пример?  
 И не им ли создана бригада?  
 Парню доверяем мы...

Звонки.  
Фрезеров веселые цикады,  
Соревнующиеся станки.  
Шли декады...  
И однажды Вяткин—  
Злейший враг наш—  
Подшел к станку  
Сенькиному:  
— Молодцы, ребятки,  
Задали вы жару старику.  
Вот рука вам!  
С вашими руками  
Я хочу свою соединить.  
Буду говорить со стариками.  
Знаю—не откажутся они.  
Примут вызов—мы ударным цехом  
Встретим пятилетки третий год...  
Почему же нас встречают смехом?  
Нам в лицо смеется весь завод?—  
Я не знаю, как случилось это.  
Крепко ты подвел нас, паренек...  
Перерыв пришел, а Сеньки нету.  
Так весь день и простоял станок.  
Старики узнали стороною,  
Будто Сенька вышел из пивной  
Об руку с поречновской шпаною,  
С забубенной песенкой блатной.  
Это значит—гулеванить снова,  
Финку в руку—и айда с братвой.  
Как же так? А договор? А слово?  
Не сдержал ты слова своего.  
И над нами старики смеются:  
— Ваш-то бригадир... Не утерпел...  
Но как прежде наши руки рвутся  
К фрезерам, к работе...  
Прорва дел  
Перед нами.  
Значит—не слова лишь,  
Если радостен высокий труд,  
Пусть покинул строй один товарищ,—  
Новые товарищи идут.

## К О Ж А

## РАССКАЗ

На краю города грузно осели в желтый песок корпуса фабрики. Влево, с севера—тесные, кривые переулки, а за ними громады многоэтажных домов и вершинки фабричных труб. С юга—на косогор плеснулось картофельное поле, за ним зеленой пеленой вздулся лес. К полдням заносит южный ветер в открыты окна фабрики крепкий запах коровьего стада, обожженной солнцем травы.

Узорами, режущими глаза, упало солнце в окна фабричного корпуса, переломилось в стекле и желтыми пятнами легло на блестящие черные кожи. От солнца в цеху душно, пахнет дегтем и разогретыми дубильными экстрактами.

Руки посадчика Сергея Андреича льнут к сальному доскуту. На низком лбу вздулась капелька пота и привязчивой мухой поползла вниз, к веснушчатому пухлому носу, задержалась на минуту в щербинке, соскочила на желтую бороду и с нее звездочкой упала на кожу. Другая капелька, третья... Махнул Сергей Андреич рукой—то ли от капелек отделявался, то ли от мыслей. А мысли ядовитей пота:

«Погодка... Ведро... Сенокосить бы теперь в самую пору!».

Сажает Сергей Андреич крюки, гладит ладонью по теплой, жирной коже, и кажется ему, что под ладонью—живая кожа низенького крутобокого деревенского Серки... Вот Серка на пожне, стоит, привязанный у телеги, и кланяется, как заведенный, слепней шугает... шугает, а сам глазом добрым налево, на хозяйку. Та, словно шалай, стоит, от солнца щурится.

— Кинь в телегу охачочку свежей травы!—заботится Сергей Андреич об Серке.

— Ась?—отозвалось сбоку. Сосед Сергея Андреича, посадчик Свистунов—ладонь к уху трубочкой. Порфирий Свистунов глуховат с войны.—Чего говоришь?

— Кинь, говорю, охачочку!—машинально повторяет Сергей Андреич.

— Ась? Это чего—охачочку?

Вскинул Сергей Андреич голову и вдруг плюнул себе под ноги, на сыроватый, пропахлый кожами асфальт:— Ох, и влезет же в голову такое!..

— Ась?

Сергей Андреич расстроился.

— Да ну-тя к чорту с твоим «ась»!.. Погода, говорю, хорошая, сенокосить в самую пору. В деревне все на луга поехали, а ты тут гни дурака.

— Дурака?.. Кто ж, по-твоему, дурака гнет?

— Все!—рубнул Сизов по воздуху синим, промазанным кулаком. — Как есть, все... Товару нет. Кажинный день простоп. Ну?..

— Товар достать надо.

— А где?.. Об эту пору мужики скотину не режут,—сенокосят... Да ведь, так или иначе, останов фабрике нужен, рабочему—отпуск нужен. Иной бы отдохнул за хорошую погоду, а иной бы и дела какие, по хозяйству, справил. Например, мое положение: баба неумеющая, сенокосить не может, значит, либо трава—погибай, либо надо сдавать косить исполу.

Посмотрел Свистунов на плотную, в красных жилах шею Сергея Андреича и вздохнул: «Ох, рабочий тоже! Руки за кожу держатся, а брюхо в деревню глядит! Остановить фабрику, сенокосить... Ишь ты, мужицкое нутро!». И, повернувшись к Сергею Андреичу, загнул ему с сердца мудреное слово:

— Эх ты, гипотенуза!

— Какая еще гипотенуза?

— А вот такая... Двойкая!

Сизову—все нипочем. Перекурка ли, перерыв ли на обед—разговоры одни: товару нет... работаем из последнего... просто... останов.

— Пушай я гипотенуза, а останов фабрике нужен. Шелью обуха не перебьешь.

— А-ась?.. А, может, и перебьешь, коли возьмешься.

Сосед справа, посадчик Евграфыч презрительно въелся:

— Перебивало!.. Перебиваете вы язык по зубам, а дела не видно!

— Дурье!—рубнул кулаком Сергей Андреич.

— Это кто дурье?—подскочил Васька Емелин.

— Да хоть бы ты... со всей дирекцией, с чортом лысым!

Посадчики сбились в кружок, зашумели. Часть за Ваську, часть за Сергея Андреича...

— Ишь ты, умный за гумнам!..

— Ты насчет дирекции полегче!..

— Васька—от комсомола говорит, ему так приказано!

— И хорошо!—Сизов вскочил на подножку строгальной машины. — Еще мало говорим. Кричать надо во всю глотку! Простоев сколько у нас? Сколько денег за простой переплатили? Сколько посадчиков на откатку перевели, на легку работу? А ведь им по седьмому разряду платят, советской монетой. Деньги на ветер летят...

Сергей Андреич уцепился за слова Сизова своей, крестьянской пятерней:

— Правильно, Сизов! Мы здесь шесть красных заработаем, фабрике убыток. А дома—сенокос...

Кипели, бурлили голоса.

— Убыток... заработок—пустое дело... Какого чорта дирекция глядит, чего выжидает!.. Останов фабрике нужен... Не нужен останов! Кому не нужен?—Государству!.. Промфинплан, значит, собаке под хвост? Новые корпуса, строящие, значит—тютю?..

Емелин Васька режущим голосом:

— Ударники мы, али липа? Чуть-что и на фабрику наплевать!..

Порфирий Степаныч налаживает к уху ладонь и покачивает сухонькой головой:

— Ой, не дело толкуете, совсем не дело. Не работа ведь это, а рвачка...

\* \* \*

Клубные стены не видали столько народа. По чугунной лестнице из цехов гремят, шуршат, чвякают сапоги, сандалии, туфли, чуваки..

На завороте лестницы, под большим зеркалом—стол, за столом—секретарь завкома Барский. Трясет завитком волос и посмеивается навстречу рабочим.

— А, товарищ Исупов!.. Защишем. Цех у тебя раскройный, вид беспартийный, а какого ты пола—никак не пойму!

— Пол у него средний!—хохочет Юлька Степанова. — Ни усов, ни бороды.

Рабочий с колонок Смирнов, громыхая костылями, кричит:

— Ну-ка, зарисуй меня!

— Зарисуем,—смеется Барский. Рука его отекала. Пятуго сотню дописывает, и весел: прут на собрание рабочие, словно в кино. Посадчики кружком расселись в углу зала. Им в цеху всего слышней биение фабричного сердца. Нет в раскройном товару, нечего кроить—и в посадном простой, и в обувных цехах недовыработка.

Сизов с Емелиным—в центре кружка. Посадчики настороженно прислушиваются к их крикливому спору, то кивают сочувственно, то взрываются негодующими голосами.

— Согласен: фабрику надо расшпрять,—машет Сизов кулаком,—да с чем? Товара-то нету?!

— «Нету-нету!» Заладила сорока про Яков... Сколько у нас товару зря пропадает? Переделки сколько?. Сколько кожи попусту режется в лоскут? Это тебе что?!

— Правильно, мил человек,—потряхивает головой Свистунов:—много доброго портим.

Брякнул звонок на сцене и разговоры, как ветром сдуло. Тишина. Президиум выбрали не голосуя. Первые, кто повернулись на глаза, на язык—сиди, пиши...



Тишина. И вдруг годовалый сынишка работницы Анохиной вытаращил глаза на алое полотнище лозунга, оглянулся на бородатого соседа, зажмурился и пронзительно рявкнул: — «Уа-аа!..». Но сосед так сердито глянул на мальца, что тот проглотил остаток крика и смолк, прижался к матери, тихонько засопел. В тишине кружились и падали слова директорского доклада:

— Фабрика переживает напряженное положение с сырьем... Нехватает подсобных материалов... Квалифицированных рабочих перебрасываем на черную работу...

В тишине зала стелется дымок недоверия. Несмее встать во весь рост, бурчат про себя земляки Сергея Андрейча:

— Знаем... слышали... останов нужен.

— Когда всего вдоволь,—продолжает директор,—так и дурак сработает. Мы должны учесть момент... учесть ресурсы и задание выполнить без отбоя. Наш сапог по всей советской земле ходит. Нашего сапога ждут шахты, ждут горняки... тридцать тысяч пар мы должны дать на лесозаготовки. Нынче мы выпускаем миллион двести тысяч пар, а будущий год должны сделать миллион семьсот... Мы не можем остановить фабрику...

В зале одна голова склонилась к другой.

— Наш-то как разошелся!

— Ну!.. Он завернет, так—завернет!

Евграфыч соседу:

— Он и в кабинете... Это так по матушке ахнул—не продохнешь.

— Чего толковать: ухо с глазом!..

Вдруг тишина разорвалась жаркими хлопками. Секретарь партийной улынулся, наклонился к отдувающемуся директору и стал что-то ему доказывать.

В прениях говорили долго и много. Собрание ценилось за каждое новое слово, и каждое слово считало коренным, дельным, отвечающим моменту. Табачный дым сизыми кольцами вился над головами. Уборщица клуба, строгая до чистоты, махнула рукой: — Пусть чадят, такой момент...

Только вечером, когда под потолком вспыхнули радужными клубками лампочки, подошло собрание к решению:

— Вызвать представителя треста с докладом о снабжении, послать на кожзавод свою бригаду, провести двухнедельник по борьбе с потерями...

\* \* \*

Жара. В проломы окна топленным маслом сочится солнце. Запах полей влетается в запахи цеха.

От бригады нет известия. Третий день раскройный работает ниже среднего. Разметчики кожи вчера весь день стояли без дела. Половина посадчиков тоскует на дворе, на черной ра-

боте. За вторую пятидневку план невыполнен на 24 процента. От простоев—тысячные убытки.

И снова ползут по цеху тягучей слюной разговоры:

— Этак доведут фабрику до ручки... Это уж что-то, вроде вредительства получается!.. Остановили бы, да и домой... У меня в деревне крыша не перекрыта... Погода не на век, что постоит, а там—дожди и прощай...

Сергей Андреич кричит:

— За фабрику душу выложу!.. Сам восьмой год в фабрике спину гну! Сердце у меня рвется—глядеть на такую работу!

Свистунов с ним не спорит, не ругается, только уронит хмуро:

— Чем в цеху глотку драть—шел бы на производственное совещание.

— Какой прок? Хоть там из кожи лезь, от крику кожа на фабрику не придет.

— Ну и здесь ее языком не выбьешь.

Свистунов только что не ночует в фабрике: то на производственных совещаниях, то в бюро рационализации, то к кабинету директорскому сунется,—потопчется перед дверями, пробурчит что-то, махнет рукой и прочь...

Рабочие о нем говорят: — Глухой чего-то крутится непонятно... Разве в изобретатели заделаться хочет?

Сергей Андреич бурчит под нос:

— Старый чорт! Не видит слуха, что к чему. Фабрике убыток, рабочему тормоз, а они дураоло-омят!..

...Фабричный извозчик плакался постовому милиционеру:

— Отдыха не имею. Загоняли вчистую. То в окружном, то в исполком, то на почту, то... мать ее душу... Сдурели все, ей-богу!

И хлопнув руками по пыльным штанам, брал лошадь под уздцы. — Но, ты... беспартейная, стой!

Совещания, бригады, налеты...Налеты, бригады, совещания...

Фабричные дни.

\* \* \*

С утра кто-то обронил значительно:

— Четыре вагона кожи получено.

Емелин Васька волчком завертелся вокруг Свистунова:

— Степаныч, неужто верно?

— Значит, верно, коли говорят.

Сергей Андреич безнадежно отмахнулся:

— Выдумка! Враки! Да отколь она возьмется, кожа: лето, сенокос на исходе, жнитва на носу...

В обеденный перерыв председатель цехкомитета докладывал о недельнике по борьбе с потерями.

— По предложению рабочего Евграфычева сменили подсобный материал в красильне,—гудроном назывался... Выходит

восемь тысяч рублей экономии. Далее... по предложению рабочего Свистунова ликвидирован лишний процесс в посадке—это даст экономии пять тысяч рублей... Всего получено от рабочих сто тридцать шесть предложений на сумму, примерно, семьдесят тысяч рублей...

Сергей Андреич, пришедший к концу доклада, сказал горько:— Вот они куда летят, денежки-то советские... О-ох!

К концу работы прибыла первая партия кроя. Сгибаясь под теплыми, хрустящими кожами, семенили рабочие по цеху. Высоко задирая морду и заскребая копытом, яростно визжал на дворе жеребец, взволнованный близостью кобылы. Кричали о чем-то извозчики.

В пятиминутный перерыв посадчики вывалили на двор.

— Вот оно, золото сапожничье!—Свистунов любовно хлопывал ладонью по кшам кож.

— Эй, Семен Яковлич!—кричал Васька Емелин в конец двора директору, вывернувшись из конторы:— Зайди зюда!.. Да зайди-и!..

— Ну, что?

— Да вот...кожа. Вот мы между собой, что ли, сказать...рады...

Директор, не теряя выдержки, сказал:

— Это от нашей бригады. Посылка номер первый. Тут, оказывается, дело такое: на заводе номер первый за развал работы весь «треугольник» сняли. Сейчас там рабочие перешли на трехсменку...

Это был первый пятиминутный перерыв на курево—без курева.

У Емелина вырвалось:

— Качать директора!

И полетел директор кверху, нелепо взмахивая руками и фалдами пиджака.

В цех вернулись посадчики потные, веселые. Свистунов дернул Сергея Андреича за рукав:

— Ну, мил человек, что скажешь? Ась?..

Сергей Андреич шумно потянул носом. — Что сказать?.. Работать надо.

И, не глядя, привычно, отвел руку к стопке лоскута.

Ударник, в атаку!  
Рабочим порывом  
Ударим по браку,  
По черным прорывам

## ЖАДНОСТЬ

КОМЕДИЯ В ТРЕХ АКТАХ \*)

## АКТ ВТОРОЙ

Изба Стукалова. В левом углу большая русская печь. На заднем плане дверь. По бокам тянутся лавки. На стенах портреты вождей. Обстановка бедная, простая, но имеет опрятный чистый вид. Анна с ухватом хлопчет у печки. Входит Наталья.

Наталья.

Здравствуйте, Анна Тимофеевна!

Анна

(ласково). Добро пожаловать, Наталья Ивановна! Проходи, гостейка дорогая!

Наталья.

А я на минутку, Николая Степановича надо повидать. Очень серьезное дело.

Анна.

Знаю, знаю, милая барышня! Как не повидать!.. Сама была молода... Ох, как все знаю! А Николай-то на дворе... Теленочка отгораживает. Уж такой петун-хлопотун—минутку без дела не посидит. Из района-то приехал часов, поди, в шесть. По-спал часок—и в сельсовет. А сейчас вот пришел со службы, пообедал на скору руку—да за топор... Я ему: «Ты бы хоть отдохнул... Замаешься так-то»... — А он только хохочет. — «Для меня,—говорит,—мать, работа—самый лучший отдых». — А уж характер у него—слова грубого не слышала. Вот он какой у меня! Ну и ты тоже барышня хорошая. Папаша-то твой, не в обиду будь сказано, очень лют и алошен. А ты не в него, в мамашу покойную пошла. Даром что ученая, а с каждым запросто обойдешься, всех убоготоришь. Ребятенки-то, школьники твои, души не чают от тебя.

Наталья

(смущенно). А вы, может быть, позовете Николая Степановича? Я очень тороплюсь, Анна Тимофеевна.

\*) Первый акт напечатан в „Атаке“ № 2.

**Анна.**

Ай, ай, голубушка моя! Вот уж и раскраснелась вся, будто маковинка... и глазонки забегали... Ох, все вы пынешные таковы! Не любите, как хвалить вас начнут. Вот и Николай тоже... Молвишь хорошее всочь—сейчас же на другое переведет, а либо скажет: «Поставь-ка, мать, самовар!».— Не знаешь, как и говорить с вами. Ну, живите с богом!.. А Николая-то я кликну сейчас. Да вот он и сам, никак... *(Входит Стукалов)*.

**Стукалов.**

Здорово, Наталья!

**Наталья.**

Здравствуй, Николай!

**Анна.**

Ну, вы, калякайте, милые! А я коровушку погляжу. *(Уходит)*.

**Наталья.**

Хорошая мать у тебя!

**Стукалов.**

Ничего старушка! А тебя я хочу побранить. Почему не уйдешь от отца? Надо порвать тебе с ним. *(Садятся)*.

**Наталья.**

Ах, милый, давно собираюсь уйти, да жаль Надьку. Девченке восемь лет, а она уже запугана насмерть.

**Стукалов.**

Надо будет куда-нибудь пристроить ее. А почему ты сегодня такая?!

**Наталья.**

Какая, милый?

**Стукалов.**

Ну—как это?—чувствительная, что ли...

**Наталья.**

Но, ведь, я женщина, Николай! А в жизни женщины бывают такие моменты—как бы это объяснить тебе?—а впрочем ты не поймешь!

**Стукалов.**

Нет, я понимаю! А только новое это у тебя! Я привык видеть тебя другой—общественницей, активисткой.

Наталья.

Ну и что же—тебе не нравится моя чувствительность?

Стукалов.

Да нет, что ты!.. Мне очень это приятно даже... Но я хотел бы знать причину...

Наталья.

А вот, видишь ли, Николай! Тебе надо быть осторожным. Вчера поздно вечером я застала у отца целую компанию. Между прочим, был и Сашка Гага. У них, оказывается, заговор против тебя. Надька лежала на печи и все слышала. Жаль только, забыла девченка, где они собираются подстеречь тебя.

Стукалов.

А, ерунда!

Наталья.

Не отмахивайся, Николай! Ты не знаешь отца. Его жадность—это что-то ужасное!.. Она пропитала темной отравой все его помыслы, чувства и возбуждает в нем такую бешеную злобу, что он на все пойдет... Это зверь, понимаешь!.. Свиренный, кровожадный! Ты остерегайся его!

Стукалов.

Пустяки, Наталья!

Наталья.

Нет, не пустяки! Не думай, пожалуйста, что во мне говорит только женское чувство. Я несколько не преувеличиваю. Опасность слишком велика. И ты не имеешь права так легкомысленно относиться к себе. Ты слишком нужен для дела. У нас много хороших ребят, но у них мало опыта в работе, они слабые организаторы. А наше дело, Николай, должно быть для нас выше всего.

Стукалов.

Ну, хорошо, Наталья! Мы еще поговорим об этом. Ты обожди. Кажется, ребята идут. *(Входят Ширяев, Туричев и Быстров, за ними Анна).*

Туричев.

А вот и мы! Здравствуйте! *(Все трое шумно здороваются).*

Стукалов.

Проходи, ребята! Что нового слышно?

**Туричев.**

Новостей, парень, хошь отбавляй. Кулаки такую, брат ты мой, агитацию развели—прямо, матца берег!.. *(Садятся)*.

**Ширяев**

*(мрачно сдвигая брови)*. А ты как думал—без бою они тебе?

**Быстров.**

Ой, и хитрые же, черти! Уж так ловко действуют, так ловко!.. Сами-то как будто в стороне... и носу никуда не показывают... А все через подручных своих... Настрочили Ваську Суку да Лапочкина... Ну, эти и стараются теперь... Особенно Лапочкин—так и юлит везде, так и юлит...

**Стукалов.**

Вот гад! А ведь сегодня еще прибегал ко мне. — «Уж ежели колхоз, говорит, пиши первого меня».

**Ширяев**

*(сердито)*. Слушай его!.. Прост больно! А я бы этого гада в первую очередь раздавил.

**Стукалов.**

Ну, чорт с ним! А как мужики, ребята?

**Туричев.**

Что мужики?.. Беднота, известно, все как один в колхоз. А из середняков есть иные, шатаются... Ну, большинство за нас, конечно. Опи, брат ты мой, тоже знают цену кулачьим песням.

**Стукалов.**

А вот это самое главное! *(Входит Ступин)*.

**Ступин.**

Честной компании!

**Стукалов**

*(приветливо кивая в ответ)*. Проходи, Алексей Мироныч! Что хорошего скажешь?

**Ступин.**

Да что, Николай Степанович?.. Один теперь разговор у нас... Как нащет колхозу-то порешили?

**Стукалов.**

А ты как думаешь, Алексей Мироныч?

**Ступин.**

Да, ведь, как, Николай Степанович?.. — Надо идти!

**Быстров**

(лукаво подмигивая ребятам). А не жаль с хозяйством-то расставаться?

**Ступин.**

Как не жаль, ребята! Очень это нам тяжело! Всю жисть положили на хозяйство... Вросли, можно сказать... Уж мы со своей хозяйкой думаем, думаем... Ночи не спим... Прикидываем и так и этак... Опять же и сумнительно иногда... Колхоз—дело новое. Думаешь, как-то оно пойдет... А все-таки надо идти, ребята! Потому, самое главное—машина! За ней на деревянной-то бороне далеко не упрыгаешь!

**Туричев.**

Вот это верно, брат ты мой!

**Ступин.**

А к тому же и то берешь в расчет: какая теперь наша жисть? Ломаемся, ломаемся, а корысти никакой! Живем—заблудились в грязи да в дерме, никакого свету не видим. А вон я намедни в совхозе-то был... Там люди живут!.. Пошабанили мужики—да и пошли кто куда: которые в клуб газетки читать, которые на картинки. А ведь этак-то и нам лестно! Мы, можно сказать, настоящей-то жизни и не видели еще.

**Стукалов.**

Правильно, Алексей Мироныч! А на счет колхозу, я думаю, так—вся предварительная работа уже проведена. Надо начинать.

**Ступин**

(поднимается). Ну, в добрый час!

**Стукалов.**

А ты посидел бы, Алексей Мироныч.

**Ступин.**

Да нет уж, пойду. Работенка дома-то у меня. Надо сбришку починить да тележенку наладить. В колхозе-то понадобятся, небось. (Уходит).

**Стукалов.**

Вот он, настоящий голос середняка! (Входит Загвозкин).



**Загвозкин.**

Здорово, ребята! Не опоздал я?

**Анна.**

Ой, матушки! Да и Макар Иванович пришел! Уж гоже не в активисты ли записался на старости-то лет?

**Загвозкин.**

А ты как думала, Анна Тимофеевна? У Загвозкина хоть тело-то и старое, а дух-то в ем молодой... Я только теперь и жить-то начинаю. *(Входит Сашка).*

**Сашка.**

Почевали здорово!

**Анна.**

Милости просим, Александр Николаич! Проходи, гость редкий!

**Сашка**

*(смотрит на Наталью).* А некогда сидеть-то мне! *(Стукалову).* Ты что—в город собираешься нынче?

**Стукалов.**

Для чего тебе это?

**Сашка**

*(озорно подбочениваясь).* Стало-быть, знать хочу—ежели спрашиваю.

**Стукалов.**

Ну, еду! А что?

**Сашка.**

Да я так... между прочим. Ты как поедешь-то: зимняком али летней дорогой?

**Стукалов**

*(встает).* К чему это спрашиваешь?

**Сашка**

*(вызывающе).* А так вот ндравится мне! Ну?.. Чего глаза-то пялишь?.. Ха-ха-ха-ха-ха!..

**Стукалов**

*(подходит вплотную к Сашке).* Ты чего-то не договариваешь! Я не люблю эти штуки! Говори прямо!

**Сашка.**

А ты что—укажешь мне? Хочу—говорю, хочу—нет! Что ты с меня возьмешь?

**Стукалов**

*(выхватывая револьвер).* Не шути со мной, Сашка!

**Сашка**

*(выхватывая из голенища нож).* А это видал? Хвачу—и не никнешь!

**Анна.**

Ой, батюшки, помогите! Ой, родимые, разнимите их!  
*(Все вскакивают. Наталья, вздрагивая от напряжения, горящими глазами буравит Сашку).*

**Сашка**

*(спокойно засовывая за голенище нож).* Не бойтесь! Мы это так...*(Стукалову).* Спрячь револьвер—то, Аника—воин. Меня, брат, этим не возьмешь! Выйдем-ка лучше на двор! У меня в городе дело есть одно... справишь за компанию.

**Стукалов**

*(тяжелым взглядом навалившись на Сашку).* Идем! *(Уходят).*

**Анна.**

Ой, ребята! Вышли бы вы... посмотрели за ними. Как бы не схватились опять.

**Загвозкин.**

Не беспечкойся, Анна Тимофеевна! Никакого худа не будет. Ты, что думаешь—все это просто так? Не-е-ет, милая!.. Тут то-о-окая загвоздка! Верно, Наталья Ивановна?

**Наталья**

*(пересиливая нервную дрожь).* Не знаю, Макар Иванович. Сейчас-то, конечно, опасности нет. Но, вообще—вся эта история страшно беспокоит меня.

**Загвозкин.**

Ничего не будет! Жизнь, она—хитрая механика! Вы сидите, ребята! *(Подсаживается к Наталье).* А что я хочу спросить вас, милая барышня: правда ли, говорят, что земля-то наша вертится?

**Наталья.**

Правда, Макар Иванович!

### Загвозкин.

А как же это она вертится—и не упадет?

### Наталья

*(с улыбкой)*. Видите, Макар Иванович, движенье земли и других небесных тел подчиняется известным законам. В коротких словах поясню это так. Земля по инерции—как говорят—все время пытается улізнуть напрямиком в бесконечное пространство. Но не тут-то было. Солнце только ухмыляется хитренько в лохматую рыжую бороду. Не знаешь, мол, порядков... Забыла силу моего притяжения... Веребочка крепкая, надежная... А ну-ка я тебя одерну, шалую, да потяну вот так... с прямой-то дорожки—гуляй вокруг меня! Ну, тут земле и все. Пыжится, пыжится, да мала больно супротив солнца. И приходится ей бегать по кругу—никуда не выпрыгнешь. Поняли?

### Загвозкин.

Понял, поняла, милая барышня! Я эту механику очень даже могу понимать. А ты поняла ли что-нибудь, Анна Тимофеевна?

### Анна.

Где вас понять! Уж больно заглумоватые вы.

### Загвозкин.

А ты смекай! Тут бо-о-ольшая загвозка!.. Слышала, как в мире-то премудро устроено?— Все, значит, по закону, по плану. А мы как жили до сих пор?.. Безо всякого порядку, можно сказать. Ходили все вразброд... Никаких веребочек не призывали... Ну и жили плохо от того. Мотались, точно листья по ветру, али бродили, как псы бездомовые... А вот пришли умные люди, большевики, и сказали: нельзя, мол, так, ребята! Надо организованно жить—по закону, по плану.

### Туричев.

Ах, мать честная! Ну и затейник же, Макар Иванович! Ой и голова! Ведь вои, брат ты мой, куда пример-то метнул! Ха-ха-ха-ха-ха!.. *(Все хохочут)*.

### Загвозкин.

Вы не смейтесь, ребята! Тут дело очень даже сурьезное. К примеру, скажу про себя... Ну что я раньше был?.. Никакого места в жизни не имел. Крестьянство у меня шло плохо, потому как я—изобретатель. Займешься какой-нибудь механизмой, глядишь: то яровое посеять опоздал, то сенокос не вовремя выставил... А что я мог поделывать с собой—раз у меня все нутре на эти механизмы устремлено... Ну и ломал голову...

А какое удовлетворенье имел?.. Закончивъ бывало какую-нибудь механизму—куда с ней?— Идешь в первую очередь к папаше твоему, Наталья Ивановна. А он выйдет ко мне—и давай потешаться. «Ах, ты, говорит, изобретатель этакой! Анжипер! Туда же со свиным рылом да в суконный ряд... Ты бы лучше петухом мне спел, али бы коленце какое выкинул, позамысловатее... Может, я и выкинул бы тебе семитку...»

#### Быстров.

Ах, чорт толстобрю... *(Вскидывает глаза на Наталью)*. А кха-кха... Вот, право! вот, право!.. Неужто в самом деле, Макар Иванович?..

#### Загвозкин.

Истинная правда, ребята! Так вот бывало и увидешь от него, не солоно хлебавши. А в город заявисься—и того хуже... Зайдешь в какую-нибудь учреждению—там чиновники и говорить с тобой не хотят... Переглянутся только этак с усмешечкой промежду собой: что, мол, это чудак али юродивый какой... А один раз и совсем плохо пришлось... Вышел ко мне какой-то барин—птица, видать, важная—и пансне золотое на носу. Павалился на меня поверх стекляшек—да как заорет: «Ты что, сукин сын, таскаешься сюда?.. Смущенье умов наводишь?.. А вот я тебя отправлю куда следует—да прикажу всыпать штук двадцать горячих... Небось, дурь-то сразу выскочит...»

#### Ширяев.

Вот гад! Попался бы он мне теперь...

#### Загвозкин.

Да, что поделаешь, ребята? Так вот и было прежде-го! А теперь не то... Призвал меня на днях сынок-то вон ее *(кивает в сторону Анны)* да и спрашивает: «Ты, что можешь, Макар Иванович?»—«А многое,—отвечаю,—могу. К примеру, месилку для глины—механизма очень полезная в кирпичном деле».—«Ну, с этим,—говорит,—обождем до весны, когда кирпичный оборудовать будем. А ты валы и шестерни на ветряках можешь чинить?»—«Да что это вы?..—отвечаю.— Да какой же бы я изобретатель был, ежели не умел бы таких нустяков... Небось, без валов и шестеренок никакую механику не построишь».—«Ну, вот и хорошо!—улыбается.—Значит, можешь? Валей-ка в таком разе на бывшую темновскую, приведи в порядок, а потом и за другое примемся».— Вот оно как пычече-то, ребята! Сразу человеку свое место определил. А ты вот удивлялась давеча, Анна Тимофеевна, как, мол, это Загвозкин на старости лет в активисты пошел. Да я, милая, организацию-то эту—вот как умею понимать!

**Туричев.**

Уж это он—верно. Анна Тимофеевна! Макар Иванович, брат ты мой, первый активист у нас. *(Входит Стукалов)*.

**Ширяев.**

Зачем Сашка вызывал?

**Стукалов**

*(смотрит на Наталью)*. А ну его! Знаете Сашку?.. По-нес какую-то неколесину—я и слушать не стал.

**Ширяев.**

Ты не больно с ним!.. Знаешь, какое время?..

**Стукалов.**

А, ерунда!

**Ширяев.**

Да ты не машись.—ерунда! А зачем он выпытывал все?.. Мне это очень даже подозрительно...

**Туричев.**

Верно, брат ты мой! Почему это он?.. Ты в самом деле стерегись!

**Стукалов.**

Пустьяки, ребята! Зачем Сашке нападать на меня? Я ничего не сделал ему.

**Ширяев.**

А кулачье забыл? Они, небось, давно зубы точат на тебя... С живого бы кожу содрали, поди.

**Быстров.**

Ох, и сволочи же! Уж столько этой злости в них, столько злости—как только не допнут! Встретишь какого на улице—пырнет тебя исподлобья, а глазищи-то так и полыхают, так и полыхают... Ты это верно, Николай, стерегись! У них, у дьяволов, деньжищ уйма, хошь кого сомустят...

**Стукалов.**

Да не пойдет Сашка на такое дело!

**Ширяев.**

А ты почему закладываешь?.. Смотри! Прост больно!

**Стукалов.**

А ты вот что скажи, умная голова,—кто такой Сашка? Бобыль-бедняк. А ты читал о пролетарской солидарности? Знаешь, что есть классовое чутье?

**Ширяев**

*(скребет в затылке)*. Да оно так, конечно... А только ты все-таки осторожнее.

**Наталья**

*(Стукалову)*. Ширяев прав! Ты слишком легкомысленно относишься к себе.

**Анна.**

А он, милые, и все так! С ним говорить, как в пеньек колотить. Его не уразумишь.

**Стукалов.**

Ну, ладно, бросим о Сашке! Давайте лучше о деле, ребята! Я думаю так—завтра мы созовем общий сход. А сейчас вы идите-ка, соберите актив! Мы сегодня же окончательно проработаем все, а попутно проведем и кое-какие практические меры.

**Ширяев.**

Вот это дело! Чего еще ждать? Кулаки, небось, тоже не свят! Слышал, какую агитацию развели?

**Стукалов.**

Нельзя, ребята, сплеча!.. Дело серьезное, большое... Надо основательно подходить... Чтобы крепко было—не на бумаге. А кулачья агитация нам не страшна. Уж ежели сама наука и техника с нами *(с улыбкой кивает в сторону Натальи и Загвозкина)*— значит, наша возьмет! Верно, Макар Иванович?

**Загвозкин.**

А как же иначе? Наука и техника—они порядок любят! Чтобы, значит, организованно все—по закону, по плану!

**Стукалов**

*(любовно хлопая Загвозкина по плечу)*. Правильно. Макар Иванович!

З А Н А В Е С

## АКТ ТРЕТИЙ

Ненастная темная ночь. С диким воем и свистом бешено носится ветер. В мутной холодной мгле сиротливо жмутся обледенелые придорожные кусты. За ними смутно маячат угрюмые черные ели. Справа легкой звериной походкой выходит Сашка. За плечом охотничье ружье.

**Сашка.**

Эй, где вы тут?.. Никого нету... Ну, ладно, подождем... *(Хозяйским взглядом окидывает лес)*. А здорово ветер-то свищет!.. Эх! и раздолье же!.. О-го-го-го-го!.. *(Лихо вскинув голову, уходит в кусты. Справа, низко пригнувшись, хищной крадущейся походкой с топорами и другим оружием выходят—Темнов, Славнухин и Лапочкин. За ними, спотыкаясь и путаясь в полах ряссы, ковыляет Паисий)*.

**Темнов.**

Ну и погодка, прости господи!.. В такую ночь вся нечисть, поди, повывезала из нор...

**Лапочкин**

*(трусливо жмется)*. А ты слышал, Иван Акимыч, как гоготало-то здесь?.. Уж и впрямь не леший ли?

**Темнов**

*(сердито)*. А мне откуда знать? В такой кутерьме не разберешь: может, зверь какой, али птица, а может, и сам нечистый... Спроси вон отца Паисия! Он больше в этом понимает.

**Лапочкин.**

Мне что-то страшно стало... Может, вернемся, Иван Акимыч?

**Паисий**

*(боязливо оглядываясь)*. Ночь вонистину страшная!.. Пожалуй, и в самом деле отложить...

**Темнов.**

Ну, это нет!.. Коли решил—не уйду... Хоть сам сатана приходи—не отступлюсь!.. Ведь за добро свое стою! Всю жизнь положил... *(Стучит зубами)*. У-у-у!..

**Славнухин.**

Да уж один конец, голова, орел, али решка...

**Темнов.**

*(оглядывается)*. А что же Гаги не видать?.. Эй, Сашка!

**Славнухин**

*(прислушиваясь)*. Не чуть, чего-то! Не оманул бы, каторжная душа...

**Лапочкин**

*(жадно сверкая глазами)*. Придет, не беспокойтесь! Шутка сказать—сто рублей... На такую-то сумму всякий польстится.

**Темнов.**

Эх! видели бы по-старому глаза, да была бы в руках прежняя сила—никого бы не надо мне!.. Сам бы подстерег врага... изорвал бы на куски... с грязью смешал бы... У-ух!.. *(Смотрит на Паисия)*. А ты что же, отец?.. Почему никакого припасу не захватил? Не молебны пришли служить, не акафисты петь... На такое дело с пустыми руками не ходят.

**Паисий.**

А у меня, Иван Акимыч, никакого оружия нет. Держал раньше на всякий случай револьвер... Да, сами знаете, какое нынче время... Опасно дома хранить... Куда-то зарыла попадьа.

**Темнов.**

А ты бы топорик захватил, али косарь... Все бы с припасом.

**Паисий**

*(растерянно)*. А вот и не догадался!

**Темнов.**

То-то, не догадался! А еще поп! Ты, Славнухин, дай ему топор-то! Хватит тебе и обреза.

**Славнухин.**

А возьми, отец Паисий!

**Паисий**

*(берет топор)*. Господи! укрепи десницу мою!



**Сашка**

*(выскакивает из кустов)*. О-го-го-го-го! Га-га-га-га-га!  
*(Все с криком присели)*.

**Лапочкин**

*(в испуге крестясь)*. Ой, батюшки!

**Сашка.**

*(хохочет)*. Вот так ерон! А еще на большую дорогу вышли...

**Темнов**

*(мрачно)*. А ты бы не пугал людей!.. Не шутки пришли шутить... На серьезное дело вышли.

**Сашка.**

Наделаешь с вами, видать!.. Все, что ли, собрались?.. Ну, лезьте в кусты! А я поближе к мосту пойду... Да смотрите у меня—ни гу-гу! А как услышите выстрел—враз ко мне!  
*(Исчезает)*.

**Темнов**

*(хмуро)*. Ну, чего плятё глаза? Полезайте! Да припасы-то держите наготове!.. Эх, кабы прежняя сила!.. *(Прячутся в кустах. Справа появляются Наталья и Надька)*.

**Наталья**

*(тащит за руку Надьку)*. А ты хорошо помнишь, Надька?

**Надька.**

Говорю тебе, в Зеленом логу.

**Наталья.**

Да ты, может быть, путаешь?.. Здесь лог не один.

**Надька**

*(нерешительно)*. Теперь, кажись, верно вспомнила.

**Наталья.**

Ну, пдем скорей! *(Уходят влево)*.

**Славнухин**

*(показывается из кустов)*. А ведь это, голова, кажись, твоя Наталья с Надькой.

**Темнов**

*(выходит)*. Куда их леший понес? Никак не пойму!.. *(Съирепс сдвигает брови)*. А что, как она?.. Да, нет!.. Не может быть!.. Неужели паршивица та что-нибудь слышала?..

У, стервы! Убью обоих — ежели что!.. Придушу как щенят!  
(Крестится). О, господи! Прости ты мою душу окаянную!  
Ведь за добро свою дрожу!.. Вся жисть в нем!.. Все!.. И ни-  
какой опоры не имею... У-у-у!.. (Лезет в кусты).

**Голос Василия.**

Ау! ау! ау! (Все в страхе вылезают из кустов).

**Темнов.**

Это кого еще дьявол несет?.. Ну и ночь, прости господи!

**Голос Василия.**

Папашка! Папашка! Ау!

**Темнов**

(испуганно). Да это Василий, никак!..

**Василий**

(выходит). Ау! Папашка!

**Темнов.**

Тебя что леший носит? Зачем ты сюда?

**Василий.**

А вот ты где! А я по всему лесу иду... Беда, папашка!..  
Сейчас были те... Все иминье описали... И которое под анба-  
ром зарыто было — все нашли. А нас выгнали из дому. (Ухмы-  
ляется). Уж мамашка упиралась, упиралась... И ругалась-то  
всяко... И глаза-то бросалась царапать... И сарафан-то загну-  
ла им... Они хоть бы что!.. Вытолкнули и ее. А тебя аресто-  
вать хотят. Убегай скорее, папашка!

**Сашка**

(выскакивает из кустов). Га-га-га-га-га! Го-го-го-го-го!  
Ха-ха-ха! (Покатывается на земле, оглашая лес раскатистым го-  
гочущим хохотом).

**Василий**

(не узнав Сашки). Ай, леший! (В страхе убегает).

**Темнов**

(дико вытаращив на Сашку глаза). Это ты подвел, прокля-  
тый Гага! У! Каторжник! Сатана! Разражу! (Бросается с то-  
пором на Сашку).

**Сашка**

(ловко уклоняясь от удара). Меня?!.. Ах, мать вашу!..  
(Выхватывает нож). Да я вас всех испотрошу!

**Темнов**

*(в отчаяньи бросая топор). Конец! Отобрали все... Из дому выгнали... У-у-у-у-у!.. (Бросается с диким воем в кусты. Сашка пронзительно свистит и бежит вслед за Темновым. Из лесу выбегают Стукалов, Загвозкин, милиционер и несколько вооруженных комсомольцев).*

**Стукалов.**

Оцепить лог! Не выпускать никого! *(Подходит к Паисию).* Кто такой? Э! Да это отче Паисий, никак! Вот неожиданная встреча! Ты зачем сюда, божий человек?

**Паисий**

*(заикаясь от страха).* А я-с, Николай Степанович, погулять... Такая чудесная ночь, знаете... Дай, думаю, поброжу.

**Стукалов.**

Да, да! Прекрасная ночь! Слышь, как ветер-то свищет? Самая подходящая ночь для тулянки. А топорик-то зачем захватил?

**Паисий**

*(в испуге роняя топор).* А это попадья-е!.. Захвати, говорит, на всякий случай... может, валежничку порубишь.

**Стукалов.**

Врешь, поп!.. Не за валежничком ты... На лихое дело вышел... Вяжите его, ребята!

**Милиционер.**

Сейчас скрутим! Дайте-ка веревку сюда! *(Связывают руки).*

**Стукалов**

*(подходит к Славнухину).* А это кто? Славнухин Андрей!.. Ты за каким делом, степенный мужичек?

**Славнухин**

*(дрожа всем телом).* А я из Турова шел, голова... Да встретил вон отца Паисия... Ну и остановился побалаякать.

**Стукалов**

*(выхватывая у Славнухина обрез).* Врешь, кулак! Убить меня хотел! Вяжите его!

**Милиционер.**

Никуда не уйдет! *(Вяжут).*

**Стукалов.**

А там с'ежился кто?.. *(Подходит)*. Лапочкин!.. И ты в темновскую компанию залетел?

**Лапочкин.**

Прости ради бога, Николай Степанович! Уж не знаю и как... Сам черт попутал!

**Стукалов.**

Эх, ты, лебеза! Подголосок кулачий! Ну, свяжите и этого!

**Милиционер.**

Руки назад! *(Затягивает веревкой)*.

**Стукалов**

*(оглядывается)*. А где же самый-то главный?.. Темнов где? Неужели проморгали, ребята?

**Сашка**

*(показывается из кустов)*. Не беспокойсь! Не далеко ушел... На, поглядь! *(Тащит за рукав связанного по рукам Темнова)*.

**Загвоздин.**

Харошь-Ерош! От эакого и ролк шарахнется... Ты где его, Сашка?..

**Сашка.**

В покотине здесь. Бежит, как бык зачумелый, и воет: «Подожгу!.. Спалю!.. Всех на ветёр пушу!». Ну, тут я и сгрибчил его. *(Все смотрят на Темнова, мечущего исподлобья злобные взгляды)*.

**Ширяев**

*(подходит к Сашке)*. Ты, Сашуха, того... я давеча у Николахи худо подумал про тебя... Ты, прости, брат!.. Дай руку!

**Сашка**

*(с напускным равнодушием)*. А больно мне наплевать—что ты подумал про меня!.. А руку почему не дать—возьми, ежели надо. *(Крепкожимают друг другу руки. Слева появляются Наталья и Надька)*.

**Наталья**

*(тащит за руку Надьку)*. Надька, милая, скорей!.. Да ты верно ли вспомнила?.. Может быть, опять путаешь что-нибудь?..

**Надька**

*(с трудом попевая за Натальей)*. Да, путаешь!.. Говорю тебе, в Черном логу... Теперь-то уж вспомнила!

### Наталья.

Ах, только бы не опоздать!.. Давай я понесу тебя, Надька! (Увидев Стукалова). Ты?!. Здесь?!. Жив?!. (Бросается к нему, но, заметив остальных, сдерживает порыв).

### Стукалов

(с тревогой). А вы зачем здесь?.. Не подходите-ка сюда!.. Обождите вон там!..

### Наталья

(вглядывается). Кто это?!. Отец?!. А-а!.. Попался!.. Держите его, ребята!.. Крепче держите!.. Он и связанный опасен!

### Сашка

(бросив шапку оземь). Так вот ты как?!. А я ведь постеснялся тогда при тебе... у Николая-то... Думаю, все-таки, отец... Зачем хватать за большое место... А ты совсем, стало-быть, его?!. Напрочь?!. Поклон тебе от Сашки! А насчет того, чтобы не убежал—будь спокойна, от меня ни один зверь не уходил.

### Быстров

(выскакивая из-за куста справа). Тихо, ребята! (Показывает на арестованных). Отведите-ка этих в кусты—и сами прикурните! Кто-то бежит сюда... Уж не из ихней ли шайки...

### Милиционер

(арестованным). Ну, вы!.. Залезайте! Да не вздумайте крикнуть—сразу пулю в затылок! (Все скрываются. Сцена некоторое время остается пустой. Справа, пошатываясь, выбегает Марфа. Волосы растрепаны. Одежда в беспорядке).

### Марфа

(боязливо оглядываясь). Слава тебе!.. Кажись, убегла... (Садится на корягу). А ловко я оманула!.. Думают, все наши... А до их-то и не добрались... (Вынимает из пазухи пачку). Вот они денежки мои!.. Никому вас теперь не отдам! И от старого пса утаю. На кой он мне теперь?.. Пусть издыхает от злости. Убегу к своим... Схороню... Вот они, мои хорошие!.. Червончики милые!.. А-га-га-га-га! А-га-га-га-га!.. (Жадно перебирает деньги дрожащими скрюченными пальцами).

### Сашка

(бесшумно подкравшись сзади). Рраз! (Вхватывает деньги. Взрыв хохота. Все выходят из кустов).

### Марфа

Ай, караул, ограбили! Отдай, разбойник! Глаза выцарапваю!.. Искусаю всего! (С яростью бросается на Сашку).

**Сашка**

*(прыгая вокруг Марфы).* А это видала? А это видала?  
*(Показывает кулак).*

**Марфа**

*(в отчаянии).* Отдай, Сашенька! Куда тебе этакую прорву?.. Хоть половинку отдели!.. Ну, сколько-нибудь!.. *(Бросается на колени).* Миленький,—ножки поделую! *(Ползает на четвереньках у Сашкиных ног).*

**Загвозкин.**

Эк жадность-то, ребята!.. Как животная ползает... У, чорт те!.. Выбрось ты ей, Сашка, немного!..

**Сашка.**

Нет, дудки! Больно жирно захотела... А мы эти деньги лучше в колхоз... Тут, поди, не на один трактор хватит. На-ка принимай, Макар Иванов!.. Определяю тебя временным казначеем. *(Подает Загвозкину деньги).*

**Марфа**

*(вскакивает).* У! Гага! Каторжник! Арестант!

**Сашка.**

А ты еще ругаться, чортова кубышка?.. Дайте-ка веревку, ребята!

**Марфа.**

Ай, ай! Миленькие, отпустите! *(Взмахнув руками, стремительно убегает).*

**Сашка.**

Ха-ха-ха-ха-ха! Как она врезала!.. Точно ветром слизнуло!  
*(Все хохочут).*

**Наталья**

*(с серьезным видом).* Ты это хорошо сказал, Сашка! Действительно, ветром! Слышите, какая буря?.. Широко разыгрывается!.. И многих сметет—весь старый жадный мир!

**Стукалов.**

Идемте, ребята!

З А Н А В Е С

## ТАК ДАЙ ЕМУ КРУЖКУ!..

Горячим изнеженные лучом,  
 Рвутся шагнуть с полосы...  
 — Попробуй, встань, и прикинь плечом  
 Эти колхозные овсы!

200 гектаров, как черное дно,  
 Этих тучных морей...  
 — Я думаю про толокно,  
 Для многих рабочих сыновей.

Родился мальчонка,  
 В зыбке рос,  
 Потом—на камнях мостовой  
 И только звание «молокосос»  
 Реяло над головой.

Если за детством шла по пятам  
 Жадность на молоко—  
 Так он ее чаще всего питал  
 Грязью своих кулаков!..

Так дай ему кружку!.. Чтоб в кружке той  
 Вился овсяный удой!..  
 Палей молоком колхозных коров,  
 Чтоб был он всегда здоров!

Он вырастет быстро и встанет к станку  
 Бодрым, передовым—  
 И будет славу петь молоку  
 И сокам полевым.

А если у сына будет сын—  
 Он также поймет легко,  
 Кем были подняты эти овсы  
 И выцежено молоко.

## В О Р О Н Ь Е

Как и в старинной песне,  
 Вороны садятся в круг.  
 Их черные перья елозят  
 На первом снежном ветру.  
 Они прижимаются к трунам  
 И долго кричат в рассвет:  
 — Какое прекрасное время,  
 Победа из всех побед.  
 Мы в головах выдолбим дыры  
 И шею переклюем,  
 В башне лежать не будет  
 Зеленое сердце твое.  
 Ты погибнешь, подсолнух,  
 На этом снежном ветру...  
 Как и в песне старинной,  
 Вороны садятся в круг.

\* \* \*

Гуляет техник строитель  
 Весело и легко!  
 Смотрите, какой красивый  
 Вороний военком!  
 Под мягкой волчьей шубой  
 Его не достанет мороз...  
 Ивановским девченкам  
 Рассказывает про колхоз.  
 — Я получаю триста,  
 Не ставка, а просто срам,  
 Меня ж загнали в деревню  
 К задрипаным мужикам.  
 Ну, бабы: ни рыба, ни мясо,—  
 Куда до таких, как вы!  
 Но я работаю, право,  
 Не только из-за жратвы.  
 Я проношу идею,  
 Как рыцарь павлинье перо—  
 Прибавьте еще полставки,  
 И башню построю в срок.



Но, если прибавки не будет,  
Как раз уже довелось—  
То я, извините, не верю  
В этот самый силос!

\* \* \*

Мы не были чутки и зорки,  
Мы дали врагу пройти.  
За эту нашу ошибку,  
Республика, нас прости.  
Мы лен убрали к сроку.  
В засеках рожь и овес,  
Башню засыплем мякиной,  
И будем иметь силос.  
Семьи идут работать  
По вызову славных отцов.  
Гулкий осенний ветер  
Падает им в лицо.  
Но, чтобы ошибку снова  
Не повторить сгоряча—  
Товарищ, не слушай слова  
Шкурника и рвача!

## СВЕРСТНИКУ

Хлестала и била дождей сыпь.  
 Давили ненастья пласты,  
 Но шлепали красногвардейцы  
 От Смольного в ночь, на посты.

Шатались в тумане патрули  
 И лязгали броневики,  
 Тоскующе цвынькали пули  
 И блекло мерцали штыки...

О, друг мой, безусый сверстник!  
 Едва ли ты помнишь отца.  
 Под звуки мятежной песни  
 Он путь свой прошел до конца.

В шинели, обитой походами,  
 С запасами злобы и вшей,  
 Шагал он с рабочими взводами  
 На штурмы дворцовых траншей.

И красногвардейца не стало.  
 Подкошенное не поднять...  
 Ты помнишь, как горько рыдала  
 Ночами бессонными мать?..

В памяти дни те не смяты...  
 Голод стоял у ворот...  
 Помнишь суровый, двадцатый,  
 Тифом измоданный, год?

Оставив под кровлею дома  
 Тебя и старуху в тифу,  
 Твой брат по призыву губкома  
 Уехал тогда под Уфу.

Без хлеба, полураздетый,  
 Сжимая винтовку в руках,  
 Он бился за власть советов  
 В далеких, уральских снегах.

Упал он в Урал с обрыва  
От шашки казацкой кривой—  
Армеец второго призыва  
Республики трудовой...

Мы не были под Перекопом,  
Не шли на Варшаву в поход,  
Но слышишь—прорехи штопать  
Республика нас зовет!

Ты слышишь: угля, металла  
Недостает стране.  
И партия нас призвала,  
Напомнила нам  
О войне!

Ударами, грохотом, песней  
Откликнулся призванный класс...  
Тебя, мой безусый сверстник,  
Мобилизовали в Донбасс.

А мне суждено запевалой...  
Чтоб песня прославила труд,  
В походе призывом звучала,  
Пружинила мускулы рук.

Мы оба идем рядовыми  
Республику нашу скреплять,  
Как в грохоте боя и дыме  
Шагали отец твой и брат.

## В МАСТЕРСКОЙ

Пили и пой, моя пила,  
Работать руки не устали.  
Как в зеркале, блестит мой глаз  
На отшлифованном металле.

В моих тисках зажат опять  
Подшипник, цветом листьев в осень.  
Вчера я их пришабрил пять,  
Сегодня же пришабрил восемь.

Все громче звон  
Стальных полос,  
И шестерен все чаще рокот.  
Вот потому-то  
Паровоз  
Мы выпускаем раньше срока.

Суровы, круты наши дни,  
Мой друг—двадцатилетний сверстник!  
Об этих днях поют ремни  
Никем не сложенные песни.

И мы  
Врагам в ответ,  
На зло прорывам, неудачам,  
Через барьеры  
Трудных лет  
Железной конницей проскачем.

ИВАНП

## У Г О Л Ь

Тоньше сумерки, дни теплей,  
Наряжается каждый прут.  
Керосином несет с полей,—  
Трактора целину дерут.

Трактора по полям пылят,  
Пачиная колхозный сев...  
Да не всех призовет земля,  
Полевая судьба не у всех.

Там, по шахтам навстречу весне  
Горячее работа кайл...  
В эти дни уставать не смей,  
Знай добычу наверх толкай...

Эй, нажми, закаленный шахтер!..  
Удиви прибылой народ,  
Научи, как из темных нор  
Ты выносишь пласты пород.

Пусть в шипении темноты  
На сноровку твоей руки  
Удивленно раскроют рты  
Неумелые мужики...

Покажи молодым пример,  
Чтобы вышли из них творцы,  
Чтобы густо попер наверх  
Улыбающийся антрацит.

## БРИГАДА КОЗЛОВА

О Ч Е Р К

Когда часовая и минутная стрелки остановились на цифре 12—старший сторож постройки Еремин, постукивая суковатой палкой о бревно и доски, подошел к висевшей рельсе и зазвякал по ней железной скобой. Удары густым звуком разнеслись по постройке.

По лесам забегали рабочие, бросали кирки в раскрытые ящики и с грохотом захлопывали их.

— На собрание, робя, в третьей лестничной клетке внизу будет!—выпалил бегущий Петька Ворков, на ходу скатывая фартук, красный от кирпичной пыли.

— Пошто это?—крикнули из ребят, но Петька уже несея вниз по лесам и ничего не слышал.

Ребята вслед за Петькой спустились в третью лестничную клетку и расселись кто на пустые цементные бочки, кто на зернистый песок.

— Это ты по какой статье сюда нас согнал!—ставя бочку вверх дном, спросил Митька Расторгуев, помощник и заместитель Козлова.

Петька Ворков встал на бочку, откашлянулся и начал:

— Ребята, в Москве открылся 16 съезд партии большевиков... Сами знаете, какое трудное положение сейчас... Вот съезд партии и займется этим и досконально разберет, что к чему...

— Ты ближе к ижице-то подводи,—заметили Воркову,—к чему воду мутить, не маленькие...

Петька, мазнув грязным платком по вспотевшему лбу, продолжал:

— Мы, как полнокровные члены советской власти, должны помочь большевикам и начать работу ударным порядком...

Петька говорил недолго, но от непривычки вспотел и заныхался. Рубашка липла к телу.

Ребята молчали, как в рот воды набрали. Переглядывались друг с другом, искали первого, кто выскажется.

Митька Расторгуев повернулся на бочке и, чуть не упав, крикнул:

— Аль замки повесили на рты-то? Дело ясное, как утро... Организоваться покрепче и вдарить по всем швам!

Ребята осмелели.

— Петька дело предложил, объявим себя ударниками, пусть посмотрят!

— А нашим: Сашке Хранилову с Добросердовым хвост подкрутим, чтоб не прогуливали больше!

— Пиши заявление, чего время тратить!

Васька Пиголкин молча сидел на бочке посреди группы. Сдвинутая на затылок кепка оголила его крутой лоб и каштановые волосы. И потому, как блистали его глаза и двигались толстые складки на лбу, было видно, что он глубоко воспринимает происходящее. Всего год, как пришел он из деревни и работает на постройке с городскими ребятами.

Петька скользнул взглядом по Ваське и крикнул:

— Васька напишет, он у нас из грамотеев.

Пиголкин—парень безотказный. Вынул из кармана брюк, белых от извести, лист бумаги, исписанный с одной стороны, подложил конец широкой доски и под диктовку Петьки и других писал:

«В постройке № 6 при поселке Меланжевого Комбината... от группы каменщиков стройуча Козлова в количестве 25 чел.

#### ЗАЯВЛЕНИЕ.

Настоящим сообщаем, что мы, группа 25 человек, осознали все трудности, которые стоят перед нами, комсомолом и партией, в честь 16 партсъезда объявляем себя ударными и вызываем последовать нашему примеру группу каменщиков Красавина и группу Строганова на выполнение следующих обязательств: бережное отношение к стройматериалам, как к цементу, так и кирпичу; поднятие производительности труда на 15 процентов; укрепить трудовую дисциплину и уничтожить прогулы; снижение себестоимости на 15 проц.; 100-процентное посещение общих собраний и совещаний; бережное отношение к инструментам,—к чему и подписуемся...»

Каждый по очереди подходил и подписывал свою фамилию под коллективным обязательством.

Время обеденного перерыва кончалось. Тесно было в лестничной клетке молодым ударникам. Они всей группой поднимались на третий этаж по лесам, обтянувшим бока кирпичных стен, испещренных цементными швами.

\* \* \*

По досчатому трапу, перекинутому по междуэтажным перекрытиям, шагал инженер Пластун, производитель работ на постройке. Рядом с ним шел Расторгуев и, громко разговаривая, взмахивал правой рукой, как бы отрубая каждое произносимое слово.

— Здорово, смена,—подходя к работавшей бригаде, сказал с иронией прораб, играя портфелем в левой руке. — Забузили, говорите?

Ребята бросили работу и окружили Пластунува.

— Что значит забузили?.. Прав не имеешь так говорить! Не бузим, а порядка требуем...

Первым выступил Петька Ворков. От незаслуженной обиды, нанесенной прорабом, дрожали губы и щеки покрылись красными пятнами.

Прораб молча подергивал правым плечом, отчего то поднималась, то опускалась правая лапа суконного пальто.

— Работаем по-ударному, а ты товарищ Пластунув срываешь нашу работу,—проговорил Пиголкин.

— Где ваша помощь? Нет ее... Да! да!

— Нас на подноске используют, от основной работы отрывают.

— Бюрократизму проявляете, товарищ прораб!

— В союз пойдем...

— Нам руководитель нужен, а ты не даешь,—поднялся на носках Ворков.— Как же работать без руководителя?

У прораба зашевелились кончики рыжих усов.

— Подождите, ребята, дайте мне сказать.... Мало уделяли внимания вам, так это верно... Что ж делать, когда кадров не хватает... Все же мы вам найдем, поговорю с трестом.

— Так бы и говорил... Мы в работе никому не сдадим. Подтянемся до отказа, а обязательно вышолним. Только руководителя-то дайте,—выразил общее мнение Расторгуев.

— Вот так. Работайте. За стенкой смотрите, не уехала бы... Швы потоньше делайте,—сказал Пластунув и, играя портфелем в левой руке, тронулся по лесам на другой конец третьего этажа.

На другой день утром вышел на работу в бригаду специальный бригадир, выделенный построечной администрацией для руководства и технической помощи.

Бригада была расставлена по фасадной стене. Быстрыми хватками рук убавлялся кирпич с коз, мелели серые дны в продолговатых ящиках, где находился раствор. Кирпич за кирпичем росла стена, ровная, как рейка.

\* \* \*

Вызов сделан, но бригада Козлова оставалась единственной на постройке. Бородачи, старой выучки, носившие за спинами по десятку лет, гордились этим и никак не хотели признать молодых ударников Козлова.

За пять минут перед шабашом группа Строганова собралась около котлована внизу обсудить вызов.

Старший артели, Строганов, с черным от загара лицом и плутоватыми глазками, бегающими в длинной шерсти век, встал с тачки и, расставив ноги на рыхлой земле, сказал:

— Пойти с ними на соревнование? Это с косомольцами-то? Ни... ни... Моя рука миллион кирпичей вывянчила, а они только начинают смотреть на кирпич-то...



Председательствующий Водопьянов держал в руке вызов-стройчучеников и поводил глазами по обросшим лицам каменщиков.

— Кто еще преть хочет?..

— По-моему, вызов надо принять. Что до того, что комсомольцы вызывают, молодежь... Ударничество не на лицах ведется,—покачиваясь всем туловищем то вперед, то назад, сказал коренастый Кузьма Пронин. Бритое лицо и пиджак, повый из черного молескина, плотно обтянувший вышивавшую вперед грудь, отличали Пронина от всех остальных членов артели—каменщиков.

Представитель ударной бригады Козлов сидел рядом с председателем Водопьяновым. Он видел кругом угрюмо молчаливые лица. Да и говорить было нечего. Строганов был старший и трудно переломить его. Ведь он водитель артели и кто, как не старший, хлопчет о повышении расценок для всей артели, кто, как не Строганов, «собачится» с техником, чтобы тот прибавил лишний метр в обмере работы. Строганов и на работу принимает в свою артель, он «подбирает» работников. Поневеле поддержишь его мнение.

— Старший в точку попал. Пусть научатся работать сначала,—закруглил Водопьянов по-председательски.

— Неверно! Брехня это,—вскочил Козлов, выведенный из себя.— Не в этом соль, что вы сильнее тех, кто вас вызывает. Суть—в вашем участии, в ускорении выполнения работ на постройке... Я от имени группы заявляю, что мы будем работать честно и по-ударному, а Строгановых, засевших на шею артели будем клеймить позором.

— Молод еще...

— Подумаешь, молокосос какой!

— Проваливай!

— Яйца курицу не учат!..

— Кончай, неча время наводить,—гаркнул Строганов.  
— Обедать надо.

Водопьянов вынул из кармана огрызок чернильного карандаша, помусолил его в губах и через весь лист вызова написал: «отказать...молокососы... в гроб загоним... не стоит...».

\* \* \*

Козлов прошел по ребятам, стоявшим на захвате и отметил явившихся. Сегодня недосчитывалось одного. Шестой день, как Добросердов не является на работу.

После обеда, когда настилали подмости к новой работе, пришел Добросердов. Молча надел спецовку и подошел за инструментом. Ящик был заперт.

— Кто пришел, кого я вижу?—крикнул кто-то из группы.

Добросердов оглянулся, но на него никто не смотрел.

— Прогульщика, рожу бесстыжую!—раздалось в ответ.

— Раз... два... три...—раздалось снова.

— От работы гони!

Добросердов не мог с места двинуться, словно по рукам и ногам связали его эти выкрики. Подошел Козлов, отпер ящик и, выдав Добросердову инструмент, ушел.

А когда смолк шум на постройке—ударники собрались в постройкоме.

Петька встал за досчатым столом.

— Я коротко, товарищи, о наших прогульщиках,—и глянул в сторону, где сидел Добросердов с Храниловым.

Прогульщики сидели сзади.

Знаете ли, читатель, что значит быть судимым своими товарищами? Знаете ли, что значит бойкот со стороны своих близких людей, незамечающих тебя, хотя ты и рядом с ними? Ты встречаешься с ними взглядом и замечаешь, как их взгляд соскальзывает с тебя в сторону: места не находишь от этого, в землю провалиться готов!

— Что же молчите,—продолжал Петька после информации Козлова,—пять дней прогулу—не фунт изюму. На нашей постройке они дорого стоят.

Ребята расшевелились.

— Гнать надо, если нарушают свои обязательства.

— Пусть объяснения дадут...

Дали слово Хранилову. Он шел к столу, шагая через ноги ребят. Спереди у него болтались концы шарфа, надетого на шею, лицо осунулось.

Переминаясь с ноги на ногу, путаясь и не договаривая слов, он начал:

— Совсем по-нечаянности я прогулял... Ну, выпили, конечно... еще раздавили... Утром хотел пойти на работу—башка трещит... Остался. Больше не получится этого, даю слово.

Добросердов тоже извинился.

На собрании бригады постановили:

— Добросердову и Хранилову—членам нашей бригады—дать выговор с предупреждением за систематические прогулы.

\* \* \*

У входа в красный уголок висело объявление:

«Сегодня в пять часов вечера, в помещении красного уголка, состоится производственное совещание всех рабочих постройки.

Явка обязательна.

Рабочком».

Красный уголок наполнялся рабочими. На деревянной колонне, подпиравшей досчатый свод, висела стенная газета «Топор социализма». Крупными жирными буквами было написано:

«Равняйтесь по группе Козлова. Она первая вступила в соцсоревнование. Кто следующий?».

На собрание явилось 135 человек, больше 70 процентов.

Бригада стройучеников была в полном сборе.

На сцену взобрался пред. производственной комиссии Таранин, поправил съехавшую со стола красную материю и скинул фуражку.

— Товарищи, производственное совещание считаю открытым.

Выбрали председателя и секретаря.

— На повестке дня,—голосил председатель,—присуждение премий ударникам и обсуждение договоров на соцсоревнование. Нет перестановок?

— Павертывай...

— Начну с группы Козлова,—сказал Таранин.— Эта первая ударная бригада имеет большие достижения. За месяц эта группа в 25 человек выложила 600 куб. метров кирпичной кладки. До соревнования прогулы доходили до 8,5 процентов, а теперь они в бригаде составляют 0,3 проц. До соревнования они вырабатывали в день 0,65 км., а теперь от 1-го и выше. Раньше не вырабатывали тарифную ставку, а теперь зарабатывают от 2-х рублей 80 коп. до 3 р. 10 к. в день... «Комиссия обсудила это и решила выдать группе Козлова премию 100 рублей деньгами и по брюкам каждому».

Последние слова утонули в аплодисментах. Старший артель Струганов сидел на передней скамье и кусал рыжий ус...

На лицах ударников имени 16 съезда играла улыбка радости. Да и как не радоваться, когда их работу увидели и обсуждают на общем производственном совещании все рабочие. Значит, коллективно они не плохо умеют работать!!!

\* \* \*

...И лед тронулся. Посреди построеного двора, среди груды досок и бревен,—доска «Для объявлений»: она покрыта сплошь договорами артелей. Тут был и договор от артели Струганова, она приняла вызов комсомольской бригады.

**Мы имеем семь часов труда,  
Но если знамя ударное носим—  
В каждые семь мы обязаны дать  
Столько, сколько давали в восемь.**

## ПРАЧЕЧНАЯ

О Ч Е Р К

День выдался теплый, сухой—один из тех, какими иногда балует осень в первое время своего прихода.

Пожелтевшие листья, мягко устлав тротуар, делали неслышными шаги; от того-то, может быть, были бодрые мысли и легкая походка.

— И до чего додумались: машина стирает белье, а баба стоит да поглядывает—задумчиво сказала Анастасия Ивановна. На руке, изогнув твердый стан, покоилась корзина с бельем.

— Ну, зато пуговицы после два часа пришивать будешь,—вспомнила она ехидный голос соседки Марьи и сразу стала тяжелой корзина на руке.

В раздевальне дугообразно изогнутая вереница ящиков чернела номерками с обеих сторон.

— Вот тебе два ключа: одним запрешь ящик, когда раздеваться будешь, а другим отпирешь, когда одеваться,—объяснил Анастасии Ивановне сторож.

«Устроили, чтобы одевались и раздевались с разных сторон»,—догадалась она и, положив в ящик пальто, ботинки, платок, надела на ноги чуваки и пошла в приемную.

— Ишь ты, как на фабрике!—удивленно проговорила она, глядя на бегущие ремни и стоящие рядами стиральные машины.

Подойдя к машине, Анастасия Ивановна вынула из корзины белый платок, покрыла голову и засучила рукава.

Когда она стала класть белье, невольно вспомнила о пуговицах и украдкой пошарила медное нутро машины, все пробито, в круглых ровных дырочках. Оно было гладкое, как хорошо выстроганная поверхность стола.

«Да их и отрывать-то нечем»—подумала она и успокоилась.

\*  
\*  
\*

В Иваново-Вознесенске механическая прачечная, построенная в течение одного года под руководством инженеров Занберга и Шапиро, была пущена 8 марта 1930 года. В ней всего двенадцать стиральных машин и такое же количество отжимочных (центроуруов). Все эти машины в действие приводятся электрической силой и за четырнадцать часов они выстирывают и отжимают три тысячи килограмм белья.

Положенное в машину белье для отмочки заливается холодной водой, после наливается теплая, а затем—щелок, приготовленный из соды и мыла.

Сода и мыло предварительно исследуются в химической лаборатории, для того, чтобы определить имеющиеся в них кислоты и, в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать порции и тем самым избежать порчи белья.

Барaban отжимочной машины делает восемьсот пятьдесят оборотов в минуту и, полученным от движения воздухом, отжимает белье. Сушка в так называемых сушильных кулисах происходит теплым и холодным воздухом, который идет по продолженным трубам.

Высушенное белье работницы накручивают на деревянные валы и кладут в одну из четырех катальных машин или же идут в гладильную комнату, где ровными рядами, обтянутые войлоком и белым холстом, стоят гладильные доски, а на плите беспрерывно нагреваются утюги.

Грязная вода из машин и из корыт бежит по трубам к полу и выливается в заложное решеткой отверстие. Поднимающийся от горячей воды пар забирают железные трубы и выбрасывают его на улицу. Поэтому в прачечной нет тяжелого болотного тумана.

— А здесь у вас что?—спросила Анастасия Ивановна, увидя с боку дверки.

— Это комнатки, здесь работницы, после, как управятся с бельем, принимают душ.

— Если надо им теплую воду, они рычажок повернут вправо, и вот,—пожалуйста,—объяснила ей заведующая прачечной.

«Ну и жизнь, как книга, что дальше, то интереснее! На прошлой неделе новую фабрику глядеть ходили. Корпуса громадные, окна большие. Светлота, чистота, как у ирженого куца в залах».

Лицо Анастасии Ивановны озарилось улыбкой. Она вспомнила, что при прачечной есть детская комната. С интересом спросила:

— А хорошо ли там с ребятишками обращаются?

— Конечно, не плохо. Руководительницы ученые, игрушек много, помещенье чистое. Если хочешь, пойдем туда, сама увидишь.

При входе в детскую комнату их встретила полная, небольшого роста, белокурая руководительница. Узнав, что пришли посмотреть,—охотно стала объяснять.

— Вот это прихожая..

Анастасия Ивановна с любовью окинула взглядом маленькие вешалки и места для галош.

— А здесь находятся дети,—сказала руководительница открывая соседнюю дверь.

Их встретила вереница голубых, черных, серых и карих глаз маленьких хозяев. Четыре больших окна освещали чистую комнату. Маленькие скамеечки стояли около таких же крошечных, обитых клеенкой, столиков. На стене была растянута красная материя, а по ней белыми буквами написано:

«Родители, не бейте ребенка, это задерживает его развитие и портит характер».

Маленьких обитателей, очевидно, не смущали «большие» посетители. Ребятишки продолжали заниматься своим делом. Некоторые играли «в лошадки», щеголяя в упряжке с бубенцами, другие катали мяч, третьи—строили дом из разноцветных кубиков.

— Паша детская комната рассчитана на шестьдесят ребят. Нас здесь две руководительницы, так что занимаемся с ребятами с восьми часов утра до позднего вечера. За это время они здесь получают сладкий чай и булку с сыром или маслом и... развлечение.—говорит руководительница и в ее словах чувствуется заботливая нежность.

Невольно Анастасии Ивановне пришло на память то, что осталось позади. Это было слишком двадцать лет назад, когда она молодая поступила работать в больничную прачечную...

\* \* \*

— Наська, чортова кукла! Опять уснула около корыта?

Каждый раз этот грубоватый голос старшей прачки вселял испуг. Она вскочила с лавочки, бросилась к корыту и принялась за стирку, но большое покрывало плохо подчинялось непривычным рукам.

— Что ты его перекладываешь, как шелковое платье. Берн как следует обеими руками,—проговорила прачка, оттолкнув ее от корыта, и покрывало в ее привычных руках завертелось пойманым ужом.

Небольшая прачечная, заставленная деревянными корытами и чанами, была густо наполнена паром и тяжелым запахом распаренного грязного белья. Вонь вызывала тошноту, соленый пот мучил тело. Крупные капли слез падали в корыто...

Внезапно наступившая тишина в прачечной оттолкнула Анастасию Ивановну от прошлого.

Стирка кончилась, надо было идти к машине и выбирать белье.

У машины она встретилась с рабочим. Не утерпела.

— А ты как сюда попал?

Рабочий улыбнулся, перекладывая белье.

— Да жена-то у меня недавно домой пришла из санатории, от чахотки лечилась. Вот и жалею ее—пусть отдыхает... У корыта мне, конечно, не управиться, а у машины штука не хитренная.

Первый раз за всю жизнь Анастасия Ивановна после окончания стирки не чувствовала боли в пояснице и в руках.

Когда шла домой, не утерпела, чтоб не зайти к соседке, которая утром ее страшила пуговицами.

— Зря, Мария Кузьминична, со мной в прачечную не пошла. Ты взгляни, все пуговицы целы!

Она развернула выглаженную наволочку и принялась рассказывать о машинах.

— А ты из-за кучи белья всю кухню захламостила, как на ярмарке: не пройти, не проехать.

Марья Кузьминична невольно окинула взглядом эту неприглядную картину чугунов, лаханки и корыта. В мокром фартуке, с выбившимися из-под платка прядями волос и потным лицом, она принуждена стоять за корытом до вечера.

«А она видно и впрямь не больно устала, если зашла, да еще языком чешет!». Ей захотелось чем-нибудь кольнуть соседку, но вдруг стало стыдно.

«Да я что с ума сошла, человек ко мне с добром зашел, а я злюсь».

— По зимнему времени только просушить это белье три дня потребуется и вдобавок сырости в дому не оберешься,—горячо продолжала Анастасия Ивановна,—у меня у маленьких внучат за зиму личики словно вылиняют. А от чего? Все от плохого воздуха, а его от стирки не мало. В следующий раз пойду—тебя обязательно захвачу с собой. Машины будут стирать, а мы журналы почитаем, там их в ожидальной комнате целая пачка.

— Я что же, согласна... заходи,—проговорила Марья Кузьминична виноватым голосом, вспомнив утренний разговор о пуговицах.

---

Редакционная коллегия

В. Смирнов  
А. Благов  
Е. Пестун  
В. Залесский

---

## СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Рабочая эстрада:	
Песня ударника. Стихи.— <i>С. Селиверстов</i> . . . . .	3
Бригада. Стихи.— <i>Вал. Смирнов</i> . . . . .	4
Ударная железнодорожная. Стихи.— <i>Николай Часов</i> . . . . .	5
Текстильщицы. Стихи.— <i>Иван Петров</i> . . . . .	6
Фронт. Инсценировка.— <i>А. Благоев</i> . . . . .	7
Время—полюмя. Повесть.— <i>Михаил Шошин</i> . . . . .	13
Наша осень. Стихи.— <i>А. Близгов</i> . . . . .	87
Темы и темпы. Стихи.— <i>Я. Горбунов</i> . . . . .	89
Паровоз. Стихи.— <i>В. Шамин</i> . . . . .	91
Рассказ о сумасшедшей ночи.— <i>В. Смирнов</i> . . . . .	93
В новом клубе. Из поэмы „Мир дворцам, бой хижинам“. Стихи.— <i>Серафим Огурцов</i> . . . . .	117
И нет у нас пощады. Стихи.— <i>Дм. Мозжухин</i> . . . . .	119
Первая ударная. Стихи.— <i>Ал. Киселев</i> . . . . .	120
Кожа. Рассказ.— <i>Н. Сибиряков</i> . . . . .	122
Жадность. Комедия в трех актах. Акт второй и третий.— <i>Александр Германов</i> . . . . .	128
Так дай ему кружку. Стихи.— <i>Лев Феддер</i> . . . . .	147
Воронье. Стихи.— <i>Лев Феддер</i> . . . . .	148
Сверстнику. Стихи.— <i>Иван Петров</i> . . . . .	150
В мастерской. Стихи.— <i>Николай Часов</i> . . . . .	152
Уголь. Стихи.— <i>Л. Ратновский</i> . . . . .	153
Бригада Козлова. Очерк.— <i>Александр Сонин</i> . . . . .	154
Прачечная. Очерк.— <i>О. Груздева</i> . . . . .	160



